

ЧАРЛЬЗ

Букковски

Письма

О ПИСЬМЕ



Annotation

«Я работал на бойнях, мыл посуду; работал на фабрике дневного света; развешивал афиши в нью-йоркских подземках, драил товарные вагоны и мыл пассажирские поезда в депо; был складским рабочим, экспедитором, почтальоном, бродягой, служителем автозаправки, отвечал за кокосы на фабрике тортиков, водил грузовики, был десятником на оптовом книжном складе, переносил бутылки крови и жал резиновые шланги в Красном Кресте; играл в кости, ставил на лошадей, был безумцем, дураком, богом...» – пишет о себе Буковски. Что ж, именно таким – циничным, brutальным, далеким от рафинированной богемы – и представляется большинству читателей тот, кто придумал Генри Чинаски, которого традиционно считают альтер-эго автора. Книга «Письма о письме» откроет вам другого Буковски – того, кто написал: «Творение – наш дар, и мы им больны. Оно плескалось у меня в костях и будило меня пялиться на стены в пять часов утра...» Того, кто был одержим писательством и, как любой писатель, хотел, чтобы его услышали.

- [Чарльз Буковски](#)
 -
 - [От составителя](#)
 - [1945](#)
 - [1946](#)
 - [1947](#)
 - [1953](#)
 - [1954](#)
 - [1955](#)
 - [1956](#)
 - [1958](#)
 - [1959](#)
 - [1960](#)
 - [1961](#)
 - [1962](#)
 - [1963](#)
 - [1964](#)

- [1965](#)
 - [1966](#)
 - [1967](#)
 - [1968](#)
 - [1969](#)
 - [1970](#)
 - [1971](#)
 - [1972](#)
 - [1973](#)
 - [1975](#)
 - [1978](#)
 - [1979](#)
 - [1980](#)
 - [1981](#)
 - [1982](#)
 - [1983](#)
 - [1984](#)
 - [1985](#)
 - [1986](#)
 - [1988](#)
 - [1990](#)
 - [1991](#)
 - [1992](#)
 - [1993](#)
 - [Послесловие](#)
 - [Благодарности](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Чарльз Буковски
Письма о письме

* * *

От составителя



Письма Буковски точно воспроизвести практически невозможно, поскольку многие обильно украшены рисунками и почеркушками. Сходным же образом вся его корреспонденция 1945–1954 годов написана от руки – так совпало, что это был печально известный десятилетний запой Буковски, когда он, по его обманчивым утверждениям, вообще ничего не писал, как будто обо всем его рукописном материале можно было забыть, – и потому ее здесь тоже нельзя воспроизвести как надо. Однако некоторые выдающиеся письма приведены факсимильно, чтобы их можно было оценить так, как к этому стремился сам автор.



Чтобы сохранить причудливый стиль письма Буковски, редакторская правка здесь сведена к минимуму. Хотя пунктуация у Буковски была вполне точна, его орфография в лучшем случае прихотлива, что признавал и он сам. В этом сборнике ненамеренные опечатки исправлены без пояснений, а намеренные оставлены в попытке как можно лучше сохранить его голос. Таким же образом опущены приветствия и прощания, которые по большей части одинаковы. Буковски писал очень много писем, и послания его обычно бывали длинны, в них обсуждались и темы, не связанные с литературой. Редакторские сокращения обозначены [...]. Редакторские пометки в тексте также заключены в квадратные скобки. Чтобы что-то подчеркнуть, Буковский пользовался ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, и если это названия книг, то они заменены на курсив^[1], а если названия стихотворений или рассказов – заключены в кавычки. Даты и названия тоже приведены к единому виду. Если не считать этих случаев

редакторского вмешательства, все письма напечатаны так, как их писал сам автор.

1945

Хэлли Бёрнетт была соредактором журнала «Рассказ»^[2], где Буковски впервые опубликовали в 1944 году.

[Хэлли Бёрнетт]

Конец октября 1945 г.

Я получил ваш отказ на «Уитмен: его поэзия и проза» вместе с неформальными комментариями ваших рецензентов рукописей.

Вроде вполне мило.

Если вам понадобится лишний рецензент рукописей, пожалуйста, дайте мне знать. Я нигде не могу найти работу, так что можно и с вами попробовать.

1946

[Карессе Кросби]

9 октября 1946 г.

Фила, Па
9 окт. 1946

Уважаемая
миссис Кросби,



Я работал
на багетной
фабрике



и пиш, когда вы
приняли один мой
рассказ



В письме вы сказали,
он «загадочен и глубок».



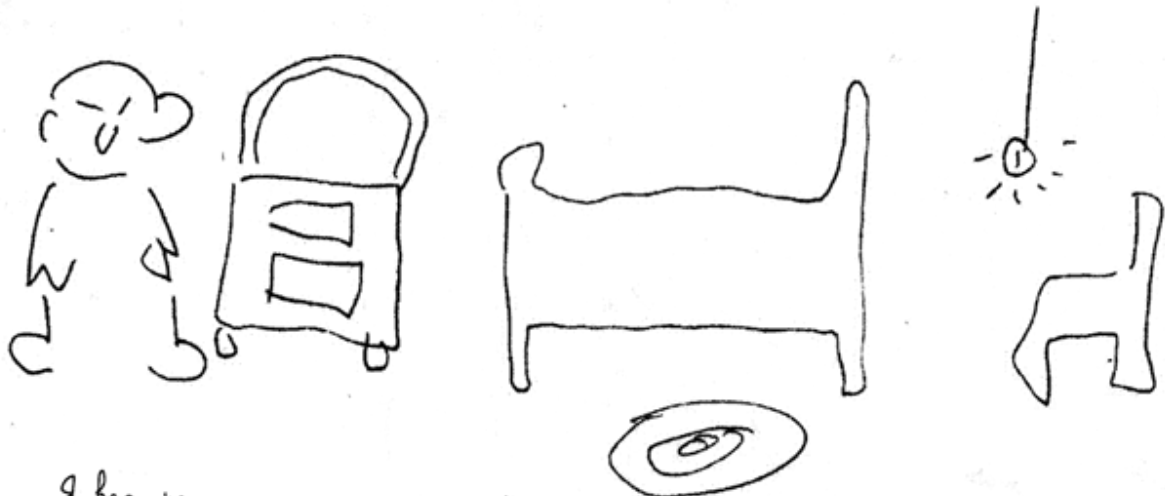
Я потерял работу,



отец купил мне
новый костюм
и отправил меня
в Филадельфию



Я жил на социальное
пособие, у меня было
слишком много времени
думать и пить —

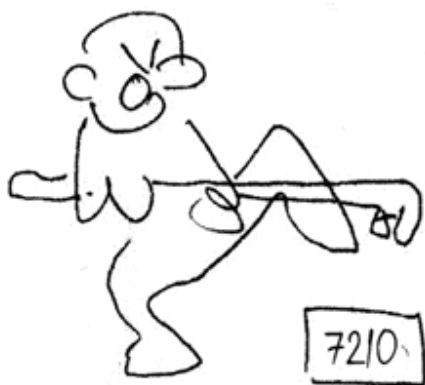


Я все размышлял про «Портфолио».



Писал разные оскорбительные заметки, выискивал французские слова у себя на последних страницах словаря.

Мне хотелось получить экземпляр «Портфолио» со своим рассказом в нем. У меня была чокнутая тоска, мания самоубийства, винные грезы. Мне требовался духовный пинок, а в своих требованиях был восторжен. После нескольких пересадок я его получил («Портфолио»)



Теперь я работаю на складе инструментов —



и бухаю



Однако не понимаю все равно. Где же те рассказы и наброски, что я слал ей в марте 1946-го? Она сердится? Это ее месть? Она сожгла мои вещи? Сделала из страниц бумажные кораблики для ванны? Или они у Хенри Миллера под матрасом и он на них спит?

Больше я ждать не могу.

Если не получу ответа, это мне и будет ответом,

Искренне,

Чарльз Буковски

Сев. 17-я ул., 603

Фила, 30, Па.

[Карессе Кросби]

Ноябрь 1946 г.

Я *должен* написать вам еще раз и сообщить, в каком я восторге от получения того восхитительного снимка – Рим, 1946-й – и вашей записки. Что касается потерянных рукописей – ну их к черту – все равно они ни на что не годны – разве что за исключением нескольких лютых набросков, что я сделал, пока паразитировал на своих родителях в Лос-Анджелесе. Но это все птичкам: я – поэт и пр.

От бухла я по-прежнему шаток – машинки нет. Все же, ха ха, пишу свое барахло чернилами, печатными буквами. Удалось избавиться от трех ничего так себе рассказов и четырех неудовлетворительных стихотворений в «Матрицу», довольно старомодный филаделфийский «маленький журнал».

Я вообще-то человек уж больно нервный, чтоб автостопом приехать в Вашингтон повидаться с вами. Я разобьюсь на всевозможные маленькие четвертинки. Но спасибо, правда. Вы очень достойно себя вели, очень.

Возможно, вскоре пришлою вам что-нибудь, но не сразу. Что бы это ни значило.

1947

[Уиту Бёрнетту]

27 апреля 1947 г.

Спасибо вам за весточку.

Не думаю, что мог бы сделать роман – у меня нет позыва, хоть я и думал об этом и когда-нибудь, наверное, попробую. Называться будет «Благословенный мастак», и он будет о рабочем из простонародья, про фабрики и города, про мужество, уродство и пьянство. Только не думаю, что, если стану писать его сейчас, выйдет что-нибудь хорошее. Мне придется надлежащим образом разогреться. Кроме того, у меня сейчас столько личных хлопот, что я не в состоянии в зеркало смотреть, не то что книжку выгнать. Я вместе с тем удивлен и доволен вашей заинтересованностью.

Других чернильных набросков, без рассказов, у меня сейчас нет. «Матрица» взяла только один, который я так сделал.

Мир в последнее время довольно-таки взял малыша Чарльза за яйца, и писателя в нем осталось немного, Уит. Поэтому получить записку от вас было чертовски мило.

1953

[Карессе Кросби]

7 августа 1953 г.



Привет, миссис Кросби:

Увидел в книжном обозрении (на самом деле так и не прочел, но) ваше имя, «Ежедн Пресса».

Вы меня напечатали какое-то время назад в «Портфолио», одном из самых ранних (1946-й или где-то?). Ну, однажды заехал в город с долгого запоя, пришлось жить с родителями в хилые времена. Штука в том, что родители прочли рассказ («20 танков из Касселдауна») и сожгли к черту весь «Портфолио». Теперь экземпляра больше нет. Единственного куска не хватает из моих немногих опубликованных работ. Если у вас есть лишний экземпляр????? (а я не знаю, какого черта он у вас должен быть) очень кстати будет, если вы мне его переправите.

Теперь я много не пишу, мне уже скоро 33, брюхо и ползучая деменция. Продал машинку, чтоб уйти в запой 6 или 7 лет назад, а не-алкогольных \$ мне никак не хватает на другую. Теперь время от времени пишу свое от руки печатными буквами и украшаю их рисунками (как любой другой псих). Иногда рассказы просто выбрасываю, а картинки вешаю в уборной (иногда на рулоне).

Надеюсь, «20 танков» у вас есть. Был бы признат.



[Джадсону Крюзу]

Конец 1953 г.

Вы один в Америке шлете бодрые отказы. Приятно получать вести за этими дивными снимками! Неплохой вы парень, могу себе представить.

На меня произвел впечатление ваш последний выпуск «Невооруженного уха». От него разило живостью и художественным мастерством гораздо сильнее, чем, скажем, от последнего издания «Кеньонского обозрения». Это потому, что вы печатаете то, что *хотите* печатать, а не то, что *подобаает*. Так держать.

Вчера встретился с Дженет Науфф. Она с вами знакома. Сводил ее на бега.

[Джадсону Крюзу]

4 ноября 1953 г.

Буду с вами честен. Можете оставить эти стихи себе, на сколько хотите, потому что, если вы мне их вернете, я просто выкину.

Не считая нескольких сверху, от этих стихов отказались журнал «Поэзия» и новое подразделение, «Эмбрион». Хвалебные отзывы и т. д., но они не считают, что моя писанина – поэзия. Я понимаю, о чем они. Замысел там есть, но кожу я прорвать не могу. Я не умею настройки крутить. Поэзия меня не интересует. Я не знаю, что меня интересует. Чтоб нескучно было, наверно. Подобающая поэзия – поэзия мертвая, пусть и хорошо смотрится.

Оставляйте это себе, на сколько хочется. Вы один проявили хоть какой-то интерес. Если еще сделаю, вышлю их вам.

1954

[Уиту Бёрнетту]

10 июня 1954 г.

Привет, мистер Бёрнетт:

Просьба отметить перемену адреса (Сев. Уэстморленд-авеню, 323½, Л.-А. 4), если задержите еще какие-то мои алкашные шедевры.



Эта штука, от которой отказался «Эсквайр», – расширенный вариант наброска, который я вам присылал какое-то время назад. Полагаю, слишком она сексуальна для публикации. Я только не знаю, что это значит. Я просто взялся с нею играть, и она со мной сбежала. Думаю, Шервуду Эндерсону понравилась бы, но прочесть ее он не сможет.

[Уиту Бёрнетту]

25 августа 1954 г.

Мне жаль слышать, из записки, присланной мне из Смиттауна пару месяцев назад, что «Рассказ» больше не жив.

Я отправлял еще один рассказ примерно в то время, называется «История насильника», но не слышал. Шевелится ли?

Я навсегда запомню старый оранжевый журнал с белой манжеткой. Отчего-то у меня всегда было такое представление: я могу писать все, что захочу, и если окажется достаточно хорошо, оно туда попадет. Такой мысли при взгляде на другие журналы у меня не возникало, а особенно – сегодня, когда все, к черту, так боятся оскорбить или сказать что-то против кого-нибудь другого – честный писатель оказывается в черт-те какой яме. То есть садишься писать и сразу знаешь, что без толку. Теперь уже нет былого мужества, былого упорства и былой ясности – былого Мастерства тоже нет.

По мне, все пошло к черту со Второй мировой войной. И не только Искусство. Даже сигареты на вкус уже не такие. Тамалес. Чили. Кофе. Все из пластмассы. Редиска больше не резка на вкус. Чистишь яйцо – и неизменно яйцо сходит вместе со скорлупой. Свиные отбивные все жирны и розовы. Люди покупают новые машины и больше ничего. Такова их жизнь: четыре колеса. Города включают лишь треть своих уличных фонарей, чтобы экономить электричество. Полицейские выписывают штрафы как сумасшедшие. Пьяных штрафуют на зверские суммы, а пьяны почти все, кто хоть сколько-то выпил. Собак надо держать на поводках, собакам нужно делать прививки. Чтобы поймать груниона руками, нужна рыболовная лицензия, а книжки комиксов считаются опасными для детей. Мужчины смотрят боксерские бои, не вставая с кресла, те, кто никогда и не знал, что такое боксерский бой, а когда не согласны с решением, они пишут ядовитые и скандальные письма в газеты, возмущенно негодуя.

И рассказы: там ничего: никакой жизни. [...]

«Рассказ» для меня кое-что значил. И, наверное, таков обычай мира – провожать его, а мне интересно, что будет дальше?

Помню, я раньше писал и слал вам по пятнадцать или двадцать или больше рассказов в месяц, а потом – три, четыре или пять, – и обыкновенно по *меньшей* мере один в неделю. Из Нью-Орлеана и Фриско, из Майами и Л.-А., из Филли и Сент-Луиса, Атланты и Гринвич-Виллидж, из Хьюстона и откуда угодно.

Бывало, сидел у открытого окна в Нью-Орлеане и глядел сверху на летние улицы ночи и касался клавиш, а когда во Фриско я продал машинку, чтоб на нее напиться, я не мог бросить писать, и бухать я тоже не мог бросить, поэтому писал свою дрянь от руки печатными буквами, чернилами, много лет, а потом украшал ту же дрянь рисунками, чтоб вы обратили внимание.

Ну а теперь говорят, что пить мне уже нельзя, и у меня другая пишущая машинка. У меня теперь есть что-то вроде работы, но не знаю, сколько я за нее продержусь. Я слабый и легко заболеваю и все время нервничаю, и, наверно, у меня где-то парочка коротких замыканий, но с ними я будто бы снова могу касаться этих клавиш, касаться их и делать строчки, готовить сцену, декорации, заставлять людей ходить, разговаривать и закрывать двери. А «Рассказа» больше нет.

Но я хочу сказать вам спасибо, Бёрнетт, за то, что терпели меня. Я знаю, многое там было скверно. Но то были хорошие деньки, дни на Четвертой авеню, 16, 438, и теперь, как и все остальное, сигареты и вино, и косые воробьи под полумесяцем, ничего этого нет. Скорбь гуще вара. Прощайте, прощайте.

[Карессе Кросби]

9 декабря 1954 г.

Я получил ваше письмо из Италии год или около того назад (в ответ на мое). Хочу поблагодарить вас за то, что меня помните. Весточка от вас меня несколько укрепила.

Вы по-прежнему публикуете? Если да, у меня есть кое-что, и мне бы хотелось, чтоб вы на это глянули. И если да, мне бы хотелось получить адрес, на который высылать: я не знаю, как с вами связаться.

Я опять пишу, немного. [Чарльз] Шэттак из «Акцента» говорит, что ему непонятно, как я отыщу издателя для моей писанины, но, быть может, настанет день, и «вкус публики до вас дорастет». Господи боже.

В прошлом году вы прислали мне в своем письме брошюрку – стопку листков или что-то на итальянском. Вы приняли меня за человека образованного: я прочесть ее не сумел. Я даже не настоящий

художник – знайте, что я в каком-то смысле подделка – вроде как пишу из нутра отвращения, едва ли не полностью. Однако стоит мне увидеть, что делают другие, я продолжаю свое. А что еще остается? [...]

У этого мастака еще одна холопская работа. Я ее терпеть не могу, но у меня две пары ботинок впервые в жизни (мне нравится наряжаться на скачки – изображать настоящего зрителя на бегах). Последние 5 лет я живу с женщиной на 10 лет старше. Но я к ней привык и чересчур устал, чтобы искать чего-то еще или рвать с ней.

Пожалуйста, сообщите свой редакционный адрес, если по-прежнему издаете, и еще раз спасибо вам за то, что были любезны меня вспомнить и написать.

1955

[Уиту Бёрнетту]

27 февраля 1955 г.

Спасибо за возврат старых рассказов; и приложенную записку.

Мне теперь лучше, хоть я чуть не умер в благотворительной палате Окружной больницы. Там точно бардак, и если вы про это место чего слышали, вероятно, все правда. Я пролежал там 9 дней, и мне прислали счет на \$14.24 в день. Ну и благотворительность. Написал про это рассказ, называется «Пиво, вино, водка, виски; вино, вино, вино» и отправил в «Акцент». Они вернули: «...вполне кровавый выпад. Быть может, когда-нибудь вкус публики до вас дорастет».

Боже мой. Надеюсь, что нет. [...]

Кстати, в своей записке вы сказали, что никогда меня не печатали. У вас сохранился экземпляр «Рассказа» за март-апрель 1944-го?

В общем, мне уже 34. Если не добьюсь ничего к своим 60, просто отпущу себе еще 10 лет.

1956

Стихотворение «Записка Карлу Сэндбёргу» до сих пор не опубликовано; роман «Где переночевать» был заброшен после того, как издательство «Даблдей» отказалось от нескольких глав.

[Кэрол Эли Харпер]

13 ноября 1956 г.

Стихи, что вы упоминаете, по-прежнему доступны – я не храню копии и потому не помню эти стихи до конца, но особенно доволен, что вы приняли «Записку Карлу Сэндбёргу». Это стихотворение я написал преимущественно самому себе, не думая, что кому-то достанет мужества его опубликовать.

Мне 36 лет (8–16–20), и я впервые напечатался (с рассказом) в журнале Уита Бёрнетта «Рассказ» еще в 1944-м. Потом несколько рассказов и стихов в 3 или 4 номерах «Матрицы» примерно в то же время и рассказ в «Портфолио». Как вам известно, ныне эти журналы покойны. И еще, ах да, рассказ и пару стихотворений в чем-то под названием «Пиши» – оно вышло раз или два, а потом бросили. Затем лет 7 или 8 я писал очень, очень мало. Запой у меня был тот еще. В итоге я оказался в благотворительной больничной палате с дырами в животе, рыгал кровью, как водопад. В меня без остановки перелили 7 пинт – и я выжил. Сейчас я уже не тот, каким был раньше, но снова пишу.

Вчера получил записку из Испании от миссис Хиллз, где она ставила меня в известность, что одно мое стихотворение принято в «Кихот». А кроме того, какие-то рассказы и стихи появятся в следующем издании «Арлекина» – нового журнала, который выпустил свой первый номер в Техасе, а теперь переехал в Л.-А. Они попросили меня вступить к ним в редакцию, что я и сделал. И это вполне себе переживание; и вот что я узнал: пишет столько, *столько* писателей, кто вообще не умеет писать, и они всё пишут себе и пишут все эти клише и

банальности, и сюжеты 1890-х годов, и стихи о Весне, и стихи о Любви, и стихи, которые сами считают современными, потому что написаны они сленгом или стаккато, или написаны сплошь с маленькими «я», или, или, *или!!!* ... В общем, видите, я не могу вступить в «Группу Эксперимент», но польщен тем, что вы сочли возможным меня пригласить. Попросту – как вам наверняка известно по вашему нервному срыву – не хватает времени – у меня обыденная, утомительная, низкооплачиваемая работа 44 часа в неделю, а 4 вечера в неделю я хожу в вечернюю школу, по 2 часа в вечер, плюс час или два на домашнюю работу. Я записался на курс Коммерческого Искусства на следующие пару лет, если выдержу (таков уговор с вечерней школой), а кроме того, я только что начал свой первый роман «Где переночевать». Рассказывая вам все это, я чрезмерен, поэтому, если *не* пришлю вам парочку одноминутных пьес, вы будете знать, из-за чего. Тем не менее, если я себя знаю, вы от меня получите кое-какие попытки. Хотя не думаю, что драматическая форма расшевелит меня как полагается. Посмотрим.

1958

Четыре стихотворения, упомянутые ниже, были напечатаны в первом номере «Номада» в 1959 г.

[Редакторам «Номада»]

Сентябрь 1958 г.

Я доволен, что вы подобрали 4 стихотворения, которые вам понравились. Это вполне оптовое число и подпитка на изрядный срок. Либо поле поэзии раскрывается, либо я, либо мы оба. Так или иначе, это мило, и я обязан время от времени позволять себе ощущение приятности. [...]

Что до меня, должно быть, я кажусь довольно старым, чтоб начать заниматься поэзией: 16-го числа минувшего августа мне исполнилось 38, а я чувствую себя, выгляжу и поступаю, как человек чертовски старше. Последние пару лет я работал с поэзией после пустых примерно 10 лет, которые, наверное, сам на себя навлек, и довольно несчастных, хоть и не без кое-каких мгновений. Я не из тех, кто оглядывается на тщетную растрату, считая ее совсем уж потерей – музыка во всем, даже в поражении, – но когда я оказался на смертном одре в благотворительной палате, это меня несколько притормозило, дало, что называется, передышку подумать. Я поймал себя на том, что пишу поэзию: чертовское состояньице. Я в свои ранние годы работал с рассказом, меня довольно сильно поддерживал Уит Бёрнетт, открыватель У [ильяма] Сарояна и прочих и основатель тогда знаменитого журнала «Рассказ». Уит наконец принял один – я ему, бывало, присылал 15 или 20 рассказов в месяц, а когда они возвращались, я их рвал – тогда еще, в 1944-м я был неиспорчен, яростен и мне было 24. 3 или 4 рассказа я залудил в «Матрицу», а один в международное обозрение того времени под названием «Портфолио», и затем более-менее вышвырнул все за борт, покуда пару лет назад не начал писать исключительно поэзию. В первый год никто не велся, а

потом меня опубликовали (и это подводит нас к нынешнему положению) в «Кихоте», «Арлекине», «Экзистарии», «Невооруженном ухе», «Поэтическом журнале Белойт», «Катафалке», «Подходе», «Обзрении Компаса» и «Ртути». Для будущих публикаций мои работы приняты во «Вставку», «Кихот», «Семину», «Оливант», «Эксперимент», «Катафалк», «Взгляды», «Обзор принуждения», «Побережья», «Виселицу» и «Сан-Францисское обозрение». «Катафалк» выпускает в начале будущего года брошюрой мои стихи – «Цветок, кулак и зверский вой»... Ребенком я ходил в Городской колледж Л.-А. и учился там на курсе журналистики, но к газете ближе всего подхожу, когда каждые 2 или 3 дня пролистываю какую-нибудь без особого, к черту, интереса. Вернулся в вечернюю школу где-то год назад и записался на какие-то курсы по искусству, коммерческому и другому, но они опять же были для меня слишком медленны и требовали слишком много почтения. У меня нет определенного таланта или ремесла, и как мне удастся оставаться в живых – по преимуществу волшебство. Вот примерно и все – можете взять отсюда несколько строк, если нужно.

1959

[Энтони Линику]

6 марта 1959 г.

[...] Я бы решил, что многие наши поэты, которые честные, признаются, что манифеста у них нет. Это мучительное признание, но искусство поэзии обладает собственными силами, которые вовсе не нужно подразделять на критические списки. Я не хочу сказать, будто поэзия обязана пренебрегать условностями и быть безответственным паяцем, швыряющим слова в пустоту. Но само ощущение хорошего стихотворения обладает собственной причиной бытия. Я в курсе насчет Новой Критики и Новейшей Критики, а также школы мысли Голубая Гитара, английской школы, продвигаемой Пэрисом Лири, сильной образной школы «Эпоса», «Пламени» и т. д. и т. п., но все это предъявляет требования к стилю, манере и методу, а не к содержимому, хотя и тут у нас некоторые ограничения. Но в первую очередь Искусство – само себе оправдание, и оно либо Искусство, либо нечто иное. Это либо стих, либо кусок сыру.

«Манифест: вызов нашим критикам» был напечатан в «Номаде» 5/6 в 1960 г.

[Энтони Линику]

2 апреля 1959 г.

[...] Пока пишу, следует заметить, что очерк с «манифестом», который я отправил вчера (кажется), теперь не дает мне покоя. Хотя текста у меня под рукой сейчас нет, по-моему, я там употребил фразу «останемтесь же справедливы». В жаркой моей одинокой фатере это не давало мне уснуть (шлюхи отныне возлагают с менее замороченными

дурнями). Полагаю, «будем же справедливы» правильнее. Или как? Есть в «Номаде» грамматисты? В молодости (ах чу, как летят года!) я получал двойки по английскому-I в старом милом Г. К. Л.-А. за то, что каждое утро в 7:30 приходил похмельным. Дело было не столько в похмелье, сколько в том, что занятия начинались в 7:00, обычно – с воодушевляющего вопля из Гилберта и Салливэна, что, я убежден, меня бы прикончило. По английскому-II я получал сплошь четверки и пятерки, поскольку преподавала его женщина, которая постоянно ловила меня за тем, что я пялился на ее ноги. Все это говорю к тому, что я не сильно-то, к черту, внимание обращал на грамматику, и когда пишу, делаю это из любви к слову, к краске, словно швыряю краску на холст, и многое пишу на слух, а также, поскольку там и тут кое-что почитывал, у меня все обычно выходит путем, но в техническом смысле я не понимаю, что происходит, да и без разницы оно мне. Будем справедливы. будем справедливы. Будем...

[Энтони Линику]

22 апреля 1959 г.

[...] Мне сейчас надо бежать, чтоб успеть к первому заезду. Спасибо, что смягчили удар по моей слабости грамматики, упомянув, что у некоторых ваших друзей по колледжу возникают трудности с построением фраз. Я думаю, некоторые писатели и впрямь страдают от той же участи, главным образом – потому, что в душе они бунтари, а грамматические правила, как и многие другие в нашем мире, призывают сбиваться в стадо и подтверждать то, чего естественный писатель инстинктивно сторонится, и, более того, интерес его лежит в более широком диапазоне тем и духа... Хемингуэй, Шервуд Эндерсон, Гертруд Стайн, Сароян – те немногие, кто перекраивал правила, особенно в пунктуации и течении и разрыве фразы. И, конечно же, гораздо дальше зашел Джеймс Джойс. Нас интересует цвет, форма, значение, *сила*... пигменты, оживляющие душу. Но у меня ощущение, что между не-грамматистом и неначитанным есть разница, и именно неначитанных и неподготовленных, тех, кто так спешит выплеснуться в печать, кто не достигает возраста крепкого и основного трамплина, я

здесь упрекаю. И совершенно точно у школы «Кенъонского обозрения» здесь преимущество, хоть их по этому поводу и чересчур заносит, и творческая кромка у них притупляется.

Джеймс Бойер Мей редактировал и издавал «След», в нескольких номерах которого появились выдержки из переписки Буковски.

[Джеймсу Бойеру Мейю]

Начало июня 1959 г.

[...] Что же до тех, кто как-то сомневается в моей психологической сноровке, я чувствую, что исходит это из непонимания моего поэтического намерения. Я не вырабатываю свои стихи прилежной силой воли – скорее опираюсь на случайное и слепое формулирование словес, на более текучий замысел в надежде на тропку поновее и поживее. Я действительно иногда персонализирую, но это лишь ради изящества и натиска танца.

О четырех стихотворениях Буковски, опубликованных в «Номаде»-1, неблагоприятно отозвался в своей рецензии, опубликованной в «Следе»-32, Уильям Дж. Ноубл (1959).

[Энтони Линику]

15 июля 1959 г.

Теперь между нами, мне бы хотелось заметить вам кое-что про Благородную Суку в «Следе»-32. Чего ради этот эльчи, этот консерватор из залов с иконами и трясунами, щипунами рондо и нюхателями лилей, чего ради этот шельмец взял и назначил себя особым критиком литературного дела, превыше того, с чем я способен разобраться в этом диспуте. Мне нужен антисептик помощней.

Все поле кипит литературными журналами, их огромная топь и котломойня для тех, кто не прочь продолжать нисхожденье, будь они гностики, анютины глазки или бабули, держащие канареек и золотых рыбок. Меня бесит, почему эти реакционеры не довольствуются своей судьбою, почему они обязательно должны терзать нас своими душами с желтыми костяшками, высящимся кракеном своего божества. Мне определенно напыщенно наплевать на то, что они печатают в *своих* журналах: никаких подачек современному стиху я не прошу. Но они же пришли пререкаться к нам. Зачем? Потому что чуют жизнь и терпеть ее не могут, они хотят погрузить и нас в те же накипь и слюни, что поддерживали в них блажь деизма зачерствелого стиха 1890-х.

М-р Ноубл полагает, что я нагл и сексуален, когда говорю о том, как «возился с плоскими грудями». Нет ничего менее сексуального, хотя определенно есть вещи и не столь наглые. В этом трагедия поэзии и жизни, в этих плоских грудях, и те из нас, кто *живет* жизнь так же, как и пишет о ней, должны осознавать, что, если мы загостимся с чувствами по этому поводу, с таким же успехом можно и не обращать внимания на паденье Рима, или игнорировать рак, или фортепианные произведения Шопена. И «метать кости с богом» будет примерно единственной оставшейся игрой, когда воздух услаждают лиловые сполохи, а горы разевают пасти и ревут, и великолепные ракеты сулят лишь посадку в преисподней.

Быть может, я неразборчив в непереваривании м-ра Ноубла. Но его смятение из-за того, что не кажется сходством, вероятно, указывает на то, что себялюбие – в чем-то другом. Я проник в консервативные журналы с консервативными стихами, но не призывал их: «Приидите, делайте, как я вам повелел!» Я просто улыбался, думал, будто приземлился в стан неприятеля, заваливал их девок, игрался с грудями и плоскими, и аппетитно не-такими-уж-и-плоскими, и украдкой уматывал, без единой отметины, не угодив в клетку, по-прежнему алчный по натуре, самец, рычу и настоящий. Полагаю, это имел в виду м-р Ноубл, когда сказал, что «у м-ра Буковски есть талант». Очень любезно было с его стороны. И меня порадовали не-такие-плоские груди.

[Джеймсу Бойеру Мею]

13 декабря 1959 г.

Как-то вечером меня навестили редактор и писатель (Стэнли Макнейл из «Обозрения галерного паруса» и Альваро Кардона-Хайн), и то, что они застали меня в дезорганизованном и взъерошенном состоянии, никак не моя вина: визит их был внезапен, как водородная бомбардировка. Вопрос же у меня такой: становится ли писатель общественным достоянием, чтоб его по публикации шмонали без предупреждения, или же у него все равно остается право на личную жизнь как у гражданина налогоплательщика? Отвратительно ли будет сказать, что единственная евхаристия у многих художников – (по-прежнему) изоляция от чересчур быстро смыкающегося общества, или же это просто устарело?

Я не считаю ни педантичным, ни постыдным требовать свободы от опиата клановости и пиявочного братства, что господствуют во многих-многих наших так называемых авангардных изданиях.

...Что ж, редактор хотя бы пива со мною выпил, а вот писатель отказался напрочь – поэтому я пил за нас обоих. Мы обсуждали Вийона, Рембо и «Цветы зла» Бодлера. (Вечер казался очень французским, ибо оба моих посетителя очень старательно пользовались французским названием произведений Б.) Кроме того, мы обсуждали Дж. Б. Мея, Хедли, Путса, Кардону-Хайна и Чарльза Буковски. Мы оспаривали, злословили и окружали. Наконец утомившись, редактор и писатель поднялись. Я солгал, сказал, что приятно было их видеть, желтофиоли и черный паслен, буравчики и живчики, ласковый луч Люцифера. Они ушли, а я щелкнул еще одним пивом, замордованный распущенностью современного американского редакционизма... Если это писательство, если это поезья, я прошу глистогонного: за 20 лет писанины я заработал \$47, и мне кажется, что \$2 в год (опуская марки, бумагу, конверты, ленты, разводы и пишущие машинки) заслужили человеку особую уединенность особого безумия, и если мне вдруг понадобится подержаться за ручку с бумажными богами ради укрепления цинготной рифмочки, я соглашусь на окукливание и рай отказа.

[Джеймсу Бойеру Мею]

29 декабря 1959 г.

[...] Я часто становился на позицию изоляционизма, дескать, значение имеет только одно: создание стихотворения, чистая форма искусства. Каков у меня характер или в скольких тюрьмах я парился, или в палатах, или застенках, или пирушках, от скольких поэтических читок для одиноких сердец я увернулся, все это не по существу. Душа человека либо ее отсутствие будет видна по тому, что он сумеет высечь на белом листе бумаги. И если я вижу больше поэзии на отрезке Санта-Аниты или пьяным под банановым деревом, нежели в дымной комнате лавандового рифмежа, это мое дело, и лишь времени судить, какой климат годился лучше, а не какому-нибудь ослу, второсортному редактору, кто боится счета от типографа, старается нажиться на подписках и лестью выманивает работы в номер. Если мальчишки пытаются сколотить миллион, на это всегда есть рынок, одинокие вдовушки с подходом Джона Диллинджера.

Так пусть же мы не поймем однажды, что у Диллинджера поэзия была лучше нашей и что «Кеньонское обозрение» было право. Сейчас вот, под бананом, я уже вижу воробьев там, где раньше видел ястребов, и песенка их мне не больно-то горька.

1960

[Джеймсу Бойеру Мею]

2 января 1960 г.

[...] да, все «малыши» – это безответственная шайка (по большинству), управляемая молодыми людьми, воодушевленными своим школьным пылом, они действительно надеются сшибить на этом деньгу, начиная с пламенных идеалов и больших идей, длинных отказов и усыхая, и вот уж рукописи громоздятся кипами за диваном или в чулане, некоторые теряются навсегда и остаются без ответа, и наконец выпускается скрепленная сляпанная скверная подборка типографски испорченных стишков, после чего женитьба и исчезновение со сцены с каким-нибудь замечанием вроде «мало поддерживали». Мало поддерживали? Да кто *они*, к черту, такие, чтоб их поддерживать? Что они сделали, кроме того, что замаскировались за фасадом Искусства, придумали название для журнала, внесли его в списки и ждали материала все от тех же самых 2 или 3 сотен затасканных имен, какие, похоже, считают себя поэтами Америки, потому что какой-то 22-летний обормот с бонгами и лишней 50-долларовой бумажкой воспринимает их худшую поэзию.

[Гаю Оуэну]

Начало марта 1960 г.

Можно быть «консерватором» и при этом все равно публиковать хорошую поэзию. У столького «современного» есть твердый панцирь крикливости, какую умеют создавать молодые люди без своей истории или чувства (см. «Катафалк»). Во всех школах есть фальшивые поэты – те, кому там просто не место. Но они в итоге исчезают, потому что их вместе с чем-то другим поглощают силы жизни. Большинство поэтов

молоды просто потому, что их еще не нагнали. Покажите мне старого поэта, и я вам покажу – чаще, чем нет, – либо безумца, либо мастера. И, полагаю, художники тоже. Тут я несколько сомневаюсь, и, хотя картины я пишу, это не моя область. Но, полагаю, тут похоже, и я вспоминаю про старого уборщика-француза в одном из последних мест, где я работал по найму. Уборщик на полставки, согбенный, пьющий. Я узнал, что он пишет картины. Писал он по математической формуле, по философскому вычислению жизни. Перед тем как рисовать, он ее записал. Гигантский план, и он по нему наносил краску. Рассказывал о беседах с Пикассо. А меня смехом разбирало. Вот мы такие, экспедитор и уборщик, обсуждаем теории эстетики, а люди вокруг зашибают в 10 раз больше нашего жалованья, мы же изо всех сил тужимся, стараясь дотянуться до гнилого фрукта. Что это говорит нам об американском образе жизни?

[Джону Э. Узббу]

29 августа 1960 г.

[...] Если же вам нужна биография... можете просеять ее из вот этой мешанины. Родился 8–16–20, Андернах, Германия, по-немецки ни слова не говорю, английский тоже скверный. Редакторы говорят, чего это ты, Буковски, не можешь ни писать, ни печатать правильно, одной и той же лентой пользуешься. Ну, они же не знают, что лента перепуталась с моей пуповиной, а я с тех пор пытаюсь вернуться к матери. А писать без ошибок мне просто не нравится... Я считаю, что слова – орудийная мощь посильней, если пишутся неправильно. В общем, я уже старик. 40. Больше замешан со строительным раствором вопля и головокружительными горестями, чем в 14, и старик драл жопу под разнообразные классические мелодии. О чем бишь мы? Дайте-ка я снова опрокину в себя это пиво... сегодня утром весточка от «Мишеней». Взяли 6 стихотворений в декабрьский номер... «Конь в огне», «Протащи меня сквозь храмы» и другую дрянь. Еще одно стихотворение, «Японская жена», для сент. номера. Это мило и даст мне прожить на 3 или 4 недели дольше. Я об этом упоминаю, потому что по-своему счастлив и пью теперь пиво. Дело тут не столько в славе

от публикации, скорее в хорошем ощущении, что ты, быть может, не спятил и кое-что из того, что говоришь, люди понимают. Пиво это до черта хорошее, глядя в солнечное окно, хо, хо, никаких чертовых женщин рядом, никаких коротконосых лошадок, никакого рака, никакой гнили сифака, как у Рембо или Де-Мэсса, лишь цветы апельсина без пчел и гниющая калиф. трава над гниющими калиф. костями. Так, погодите. Еще пиво открою. Еду на 3 или 4 дня в Дель-Мар и раздобуду денег на жилье, вычислил новый шифр для коротконосых.

Начнем другой абзац. Гер [труд] Стайн так бы мне посоветовала. Но эта Гер Ст. – что-то с чем-то. Мы-то по-своему нормальны, только некоторым помогают пчелы, боги, луны и тигры, зевающие в громадных темных пещерах, полных Серг [ея] Рахманинова и Сезара Франка, а также снимков того, как [Олдос] Хаксли беседует с [Д. Х.] Лоренсом над пролитым вином. Черт бы драл: био, био, био... Терпеть не могу себя, но нужно продолжать. Это треп-книжка, ну, господи, не знаю, как-то вечером был пьян и врезал старику, 17, двинул прочь из города. Он не дал сдачи, и мне от этого стало противно, потому что это ж у меня внутри... пялился снизу вверх с дивана, слабый трус. Я объездил все эти поганые С. штаты, работал за так, чтоб у других было хоть что-то. Я не комми, я ничего политического, но расклад это паршивый. Работал на бойне, на фабрике собачьих галет, у Ди Пинны в Майами-бич, рассылным в нью-орлеанском «Пункте», в банке крови во Фриско, расклеивал афиши в подземках Нью-Йорка в 40 футах под небом, пьяный скакал через прекрасные третьи рельсы, хлопок в Бердо, помидоры; экспедитор, водитель грузовика, дежурный игрок на скачках, держатель барных табуретов по всей тупой нации будильников, меня содержали трущобные шлюхи; десятник американской новостийной ко., Нью-Йорк, складской рабочий «Сиэрс-Роубака», служитель на заправке, почтальон... Всего и не упомяну, там все довольно унылое и обычное, и любой, кого увидишь рядом в очереди безработных, занимался тем же самым. [...]

О чем бишь мы??? Господи. В общем, при всем при этом я написал стих или 2, напечатался в «Матрице», а потом утратил интерес к поэзии. Взаялся ебаться с рассказом. Кстати, получил письмо от [Эвелин] Торн, которая печатает много моей более причудливой и классической поэзии, – хо бя, да я могу писать как угодно, никуда я не пожусь – материт меня за матершинину. Погодите-ка. Так. Рассказ. Уит

Бёрнетт в старом журнале «Рассказ» напечатал мой первый в 1944-м. Я был 24-летний пацан тогда, жил в Гринвич-Виллидж и в первый же день понял, что Деревня сдохла, одна вывеска, что некогда здесь кто-то был. Бля, ну и насмешка. Получил письмо от агентессы, та звала меня пообедать и выпить... хочет-де со мной поговорить и поагентировать мою писанину. Сказал ей, что не могу с нею встретиться, не готов, писать не могу и до свиданья, у меня своя выпивка под кроватью в виде бутылки вина. Оказался у Отца Божественного в 6 утра, пьяный, в комнату к себе меня не пустили, замерзал на улице в рубашке с коротким рукавом. Вы ж не о биографии меня спрашивали, правда, Уэбб? На самом деле, какого черта, вы ж у меня даже не приняли ни одного маво стишка?

В общем, так или иначе, по рассказу то тут, то там принимали не слишком много. Авиапочтой отправлял в «Атлантический ежемесячник», а если не принимали, рвал. Не знаю, сколько тысяч шедевров я так порвал. За ничего. Разные люди по пути пытались убедить меня сделать роман. Нахуй их. Я б и Хрущеву роман писать не стал. На какое-то время про все забыл, 10, 15 лет не писал. Не прошел Християтра, чтоб попасть в Армию. Хорошее ощущение. Надел трусы задом наперед, но не специально после 4 недель запоя. Они сачли, что я псих, чокнутые суйкинадети!

В общем, слышьте, Уэгг, то есть Уэбб, я сейчас еще пивом закинусь. Мне вот интересно, как вы 21 день без выпивки, этому пора положить КОНЕЦ. Однажды я оказался в благотворительной палате общей больницы... кровяца у меня из жопы и рта хлестала фонтаном... меня там бросили валяться на 2 дня перед тем, как вообще до меня добрались, потом сообразили, что у меня могут быть связи с преступным миром, и вкачали в меня 7 пинт крови и 8 пинт глюкозы без передыху. Сказали, что если опять выпью, то сдохну. 13 дней спустя я водил грузовик, ворочал 50-фунтовые свертки и бухал дешевое вино, сплошь сера. Они промахнулись: я *хотел* сдохнуть. И как это пережили некоторые самоубийцы: человеческий каркас *может* оказаться прочнее стали.

Так минуточку Уэбб чё бишь мы?

В общем, я вылез из этого потемнения 10, 15 лет пьянства, блядства, ужаса, каштанов в простынях, каштановой скорлупы, мыши прыгают как ракеты по комнатам на 3 недели квартплату задерживаю

через сны с бодуна, позеленевшая картошка, лиловый хлеб, любовь жирных серых женщин, от которых рыдаешь, их крупные картошные пуза и сухая любовь и четки под подушкой и снимки детей нечистых... ни от чего мужчине себя не ощутить дикарем и дерзким, потому что он просто хочет удавиться. Женщины были лучше нас. Все до последней. Шлюх не бывает. Меня грабили, били по башке и портили вместе с ними всеми, и я говорю – блядей не бывает. Женщины так не сложены. Так сложены мужчины. Само понятие – блядство. Я такой был. И до сих пор. Но продолжим.

В общем, десять или 15 лет спустя я снова начал писать... в 35, но на сей раз из меня полезла сплошь ПОЭЗИЯ. Что за херня? Я это так рассматривал – тут экономятся слова... Гер. бы это понравилось, хучь я и трачу тут чересчур много слов, но уверен, меня простят... потому что кто-то завел свою газонокосилку и БЫРРРР ЩЕЛКВРРЫРР, это ничего, когда внутрь льется солнце и что-то играет по радио... Не знаю, что... может, слышал раз или 2жды, так устал от того же самого... Бетховен, Брамс, Бах, Чайковский и т. д...

В общем, я выступил с маленьким стишком, потому что мне понравилось, да и вышло вроде ничего. Теперь я что-то подустал и не вполне понимаю что.

В общем, публиковался тут и там, в ящике полно маленьких журналов, где должны лежать рубашки.

Хотелось бы сказать, что у меня есть или *были* какие-то боги – Эзра П. перед тем, как я начал переписку с бывшей любовницей [Шери Мартинелли]... По-прежнему есть, однако, [Робинсон] Джефферс. Элиот мне казался оппортунистом, шел туда, где самые увертливые боги дарили самые тихие дары, что очень здорово и иноверчески, но не по-человечески, и рев крови или какой-нибудь бродяга, подыхающий в трущобах в одном исподнем, которое не стирали 4 недели. Я не то чтоб лупил по Элиоту, я луплю по образованию и его фальшивым зубам. Я мог бы и могу получить больше знаний о жизни, поговорив с мусорщиком, а не с Т. С., либо вообще-то с вами, Джон Э. У. О чем бишь мы? [...]

Слышьте, Джон, надеюсь, вы сможете отыскать стишок. Где-нибудь среди чертовых песенок... Ненаю, устал я... люди везде поливают газоны... нормально устроились. В общем, слышьте, это была биография.

ручку потерял,
давайте ошарашим их алькатрасской бредятиной...

Стефаниле опубликовал стихотворение Буковски в «Воробье»-14 (1960).

[Феликсу Стефаниле]

19 сентября 1960 г.

Никакой я не «книжный червь или цаца»...

Ваша критика верна: предложенное стихотворение было рыхло, небрежно, много повторов, но вот в чем суть: я не могу РАБОТАТЬ над стихом. Слишком многие поэты слишком старательно трудятся над своей писаниной, и когда видишь их работу в печати, они, похоже, говорят... смотри, старик, да ты глянь только на это ПРОИЗВЕДЕНИЕ. Я мог бы даже сказать, что стих *не должен быть* стихом, а скорее куском чего-то такого, что вышло правильно. Я не верю в технику, школы или цац... Я верю в хватание за шторы, как пьяный монах... и срывание их прочь, прочь, прочь...

Надеюсь вновь предложить вам что-нибудь, и уж поверьте мне, я гораздо больше ценю критику, чем «извините», или «нет», или «портфель полон».

[Джону Уэббу]

Конец сентября 1960 г.

[...] Кроме того, сегодня получил вашу новую карточку, должен с вами согласиться, что можно заболтать и поэзию, и саму свою жизнь, а я больше получаю от того, что бываю с людьми – если приходится, – которые не слышали о Дилане, или Шейке, или Прусте, или Бахе, или Пикассо, или Ремб., или цветовых кругах, или чем еще. Я знаю парочку бойцов (одного с 8 победами подряд), игрока-другого на бегах,

нескольких шлюх, бывш-шлюх и алкоголиков; но поэты скверно воздействуют на пищеварение и чувствительность, и я б мог выразиться крепче, но они опять же, вероятно, лучше, чем я их выставляю, да и во мне самом много чего не так. [...]

Согласен с вами насчет «поэтической поэзии» и вполне чувствую, что почти вся написанная поэзия, прошлая и нынешняя, неудачна, поскольку намеренье, дух и акцент ее – не резьба, как по камню, или как съесть хороший сэндвич или выпить хорошей выпивки, а скорее точно кто-нибудь говорит: «Смотри, я написал стихотворение... глянь на мое СТИХОТВОРЕНИЕ!»

[У. Л. Гарнеру]

9 ноября 1960 г.

[...] Полагаю, что слишком много поэзии пишется как «поэзия», а не как воззрение. Под этим я имею в виду, что мы уж чересчур стараемся, чтобы это всё *звучало* как стихи. Ницше же сказал, когда его спросили о поэтах: «Поэты? Поэты чересчур много врут!» Поэтическая форма по традиции позволяет нам говорить много в малом объеме, но большинство нас говорит *больше*, чем мы чувствуем, или когда нам не хватает способности видеть или вырезать, мы подменяем поэтическое выражение, в котором слово ЗВЕЗДА есть набоб и главный душеприказчик.

[Джону Уэббу]

11 декабря 1960 г.

[...] Вы мне давно как-то сказали, что отказываете «именам» направо и налево. Похоже, стало быть, что вы отбираете то, что вам нравится, и лишь это любой редактор в силах сделать. Я однажды был редактором «Арлекина», и у меня есть представление о том, что попадает в смысле поэзии – сколько скверно написанной

любительской неоригинальной претенциозной поэзии приходит почтой. Если печатать «имена» означает печатание хорошей поэзии... тогда дело не-имен писать поэзию до того хорошую, чтобы пролезть. Просто отвергать «имена» и печатать 2-сортн. поэзию неизвестных... этого они хотят?.. разновидность новой неполноценности? Выбросить ли нам Бетховена и Ван Гога ради музыкальных попевок или мазни дамы через дорогу лишь потому, что ее имени никто не знает? Пока я был в «Арлекине», мы сумели напечатать только ОДНОГО ранее не издававшегося поэта, 19-летнего мальчишку из Бруклина, если я верно помню. И то... лишь отрезав целые куски от 3 или 4 стихотворений, которые он прислал. А после этого он уже никогда больше не слал нам ничего хоть отчасти стоящего. И письма мы тоже получали, огорченные письма с жалобами и от известных, и от неизвестных. Я по полночи не спал, писал 2– или 3-страничные отказы, почему я чувствую, что эти стихи не годятся – вместо того чтоб написать «извините, нет» или заполнить отпечатанный бланк отказа. Но недосыпал я зря; столько стихов не написал, а надо было; столько пьянств, пьес, скачек пропустил, а не стоило; оперы, симфонии... потому что ничего больше не получил за СТАРАНИЯ свои, за попытки быть порядочным, теплым и открытым... кроме рыкающих горьких писем, сплошь проклятья, тщеславье и война. Я б не отказался от крепкого анализа своих недостатков – но посланья, в которых хнычут и рычаг, – нет, к черту, нет. Очень странно, думал я, как люди могут быть такими конченными «говнюками» (пользуясь одним из их определений) и при этом сочинять поэзию. Но теперь, познакомившись с несколькими, я знаю, что это совершенно возможно. И я не о чистом бое, не о бунтаре, не о мужестве; я про скудоумных рвачей славы, сбрендивших по деньгам, духовных карлика.

В «Коне в огне», опубликованном в «Мишенях» 4 в 1960 г., Буковски ругает «Кантос» Паунда.

[У. Л. Гарнеру и Ллойд Аллоу]

Конец декабря 1960 г.

[...] Старина Эз [ра Паунд], вероятно, зубы себе выплюнет, когда прочтет «Коня в огне», но даже великие иногда могут жить в заблуждении, и нам, мелким, остается исправлять их застольные манеры. И Шери Мартинелли взвояет, но чего ж они тогда рыдали над своей драгоценной канто, а потом мне об этом рассказали? Я человек опасный, если нас с пишущей машинкой на волю выпустить.

1961

[Джону Уэббу]

Конец января 1961 г.

[...] Как начинаешь врать себе в стихотворении просто для того, чтобы *сделать* стих, тут-то и пиши пропало. Поэтому я не перерабатываю стихов, а отпускаю их с первого раза, потому что, если я первоначально соврал, незачем вгонять костыли по шляпку, а если я не врал, ну так, черт, и волноваться тут нечего. Я могу читать какие-то стихи и просто чувствовать, как их строгали, клепали и драили. Теперь такой поэзии много идет из «Поэзии» Чикаго. Листаешь страницы, а там одни бабочки, почти что бескровные мотыльки. На самом деле я поражаюсь, когда просматриваю этот журнал, – оттого, что ничего не происходит. И, по-моему, такое они и считают стихом. Скажем, что-то не происходит. Аккуратно уложенное в строчки нечто, такое тонкое, что его даже не ощущаешь. От этого все и выглядит смышленным искусством. Чушь! В хорошем искусстве смышлено лишь одно – если оно встряхивает в тебе жизнь, а иначе это вздор, а отчего это вздор – да в «Поэзии» Ши? Это вы мне скажите.

В 1956-м, когда я впервые начал писать поэзию в преклонные свои 35, выхаркнув желудок через рот и жопу, и мне хватило ума больше не пить виски, хоть одна дама и утверждала, будто я шатался у нее по квартире в прошлую пятницу, распивая портвейн, – в 1956-м я отправил в «Эксперимент» горсть стихов, что (которые) они приняли, а теперь, 5 лет спустя, они мне говорят, что одно опубликуют, и это замедленная реакция, если я какую и видал. Мне говорят, что в свет выйдет в июне 1961-го, и, наверно, когда я его прочту, оно будет как эпитафия. И потом она мне предложила выслать ей десять долларов и вступить в «Группу Эксперимент». Естественно, я отказался. Боже, сегодня на Вместе в средних заездах я б от лишней десятки анусом дикси свистал.

Коррингтон мне говорит, что считает, будто у Корсо и Ферлингетти это есть. Я не настолько хорошо начитан, как следовало бы. Но мне

кажется, что в современном поэте должен быть поток современной жизни, и мы теперь уже не можем писать, как Фрост, или Паунд, или Каммингс, или Оден, они уже, кажется, немного сошли с дорожки, как будто с шага сбились. По моему мнению, Фрост всегда не в ногу шел, и ему с рук сходило много белиберды. И еще бы, его разукрасили, как дохлый манекен в снегу, и дали болботать сквозь его умирающее зрение и прозрение на инаугурации. И впрямь очень прекрасно. А еще немного такого же – и я попробую поискать членскую карточку Коммунистической партии, или старую черную нарукавную повязку, или какого-нибудь педика, чтоб отмотал меня, как ему только понравится. Надеюсь, я никогда не состарюсь так, чтоб больше не помнить, но, конечно же, Фрост всегда ставил на фаворита, и если ему даже нравились рискованные ставки 60 к одному, он об этом помалкивал. [...]

Было время в Атланте, когда я еле видел конец электропровода – он был обрезан, а лампочки там не было, а я сидел в бумажной хибаре за мостом – квартплата один доллар и 25 центов в неделю – и холод стоял, а я пытался писать, но в основном мне хотелось чего-нибудь выпить, а мое калифорнийское солнышко очень и очень далеко, и я думал, ну, черт, хоть немного согреюсь, и дотянулся, и схватился рукой за провода, но они мертвые были, и я вышел наружу, и встал под замерзшим деревом, и принялся смотреть сквозь теплое обледенелое стекло в окне, как какой-то бакалейщик продает какой-то женщине буханку хлеба, и они стояли десять минут и болтали ни о чем, а я за ними наблюдал и сказал себе: клянусь, клянусь, ну его все к *черту!*, и поднял взгляд на замерзшее белое дерево, и его ветки никуда не показывали, только в небо, которое не знало, как меня зовут, и оно мне тогда сказала: я тебя не знаю и ты ничто. И как же я это чувствовал. Если есть какие-то боги, их дело – не мучить и не испытывать нас, чтоб убедиться, что мы годимся для будущего, а делать нам какое-нибудь бого-клятое бого-добро в настоящем. Будущее – лишь скверная догадка; это нам еще Шекспир сказал – иначе мы все б туда полетели. Но лишь когда человек доходит до того рубежа, когда дуло пистолета в рот, тогда он видит у себя в голове целый мир. Что угодно другое – домыслы, домыслы и херня на постном масле, и брошюрки.

[Джону Уэббу]

25 марта 1961 г.

[...] меня беспокоит, когда я читаю про старые парижские группы, или кого-то, кто знал кого-то в старину. Они, значит, тоже этим занимались, стародавние и нынешние имена. Думаю, Хемингуэй сейчас об этом книгу пишет. Но, несмотря на все, мне в это слабо верится. Терпеть не могу писателей или редакторов, или кого угодно, кто желает говорить об Искусстве. 3 года я жил в труппе ночлежке – еще до кровотечения – и каждый вечер напивался с бывшим зэком, горничной, индейцем, девкой, которая будто носила парик, но не носила, и 3 или 4 бродягами. Никто из них Шостаковича от Шелли Уинтерз отличить не мог, и нам было плевать. Главное было отправлять гонцов за бухлом, когда у нас пересыхало. Начинали мы с нижнего конца очереди, где у нас худший бегун, и если ему не удавалось – а надо понимать, почти все время денег у нас было мало или вовсе нисколько, – мы немного заглаблились до следующего лучшего. Наверно, это хвастовство, но лучшим гончим был я. И когда последний, шатаясь, вваливался в дверь, бледный и пристыженный, с инвективою на устах подымался Буковски, облачался в свою драную накидку и с гневом и уверенностью шагал в ночь, в «Винную лавку Дика», и я его разводил, и принуждал, и отжимал его насухо, пока у него голова кругом не шла; я входил с великим гневом, не побираясь, и просил того, что мне требовалось. Дик никогда не знал, есть у меня деньги или нет. Иногда я его обводил вокруг пальца – деньги у меня были. Но почти все остальное время их не было. Но так или иначе, он выставлял передо мной бутылки, паковал их, и я их забирал с гневным: «Запиши на мой счет!»

И тогда он начинал старую пляску – но господи ты бож мой, ты мне и так уже стока и стока должен, а ты не платил уже месяц и...

И тут наступало ДЕЯНЬЕ ИСКУССТВА. Бутылки у меня в руке. Ничего б не стоило просто взять и выйти. Но я хлопал их снова перед ним, выдирали их из пакета и совал ему, говоря: «На, ты вот этого хочешь! А я за своими чертовыми покупками в другое место пойду!»

«Нет-нет, – говорил он, – забирай. Все в порядке».

И тогда он доставал жалкий свой клочок бумаги и добавлял к общей сумме.

«Дай-ка погляжу», – требовал я.

И после этого говорил: «Да ради ж бога! Я же тебе не *столько* должен! А вот этот пункт тут откуда?»

И все это ради того, чтобы он поверил, будто я ему когда-нибудь заплачу. И после этого старался меня развести в ответ: «Ты человек чести. Ты не такой, как другие. Тебе я доверяю».

Наконец ему осточертело, и он продал свою лавку, а когда возник следующий хозяин, я открыл себе новый кредит...

И что произошло? В восемь часов одним субботним утром – В ВОСЕМЬ УТРА!!! чрт бы его драл – в двери стучат – и я открываю, а там стоит редактор. «Э, я такой-то и такой-то, редактор того и сего, мы получили ваш рассказ, и я счел его крайне необычным; мы намерены дать его в весенний номер». «Ну, заходите, – пришлось мне сказать, – только о бутылки не споткнитесь». И вот сидел я, пока он мне рассказывал про свою жену, которая о нем очень высокого мнения, и о его рассказе, что когда-то напечатали в «Атлантическом ежемесячнике», и вы сами знаете, как они говорят и не затыкаются. Наконец он ушел, и через месяц или около того зазвонил телефон в коридоре, и там кому-то понадобился Буковски, и на сей раз женский голос произнес: «М-р Буковски, мы считаем, что у вас очень необычный рассказ, и группа его обсудила тут недавно вечером, но мы считаем, что в нем есть один недостаток, и мы подумали, может, вы захотите этот недостаток устранить. ПОЧЕМУ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ВООБЩЕ НАЧАЛ ПИТЬ?»

Я сказал: «Ну его вообще, возвращайте мне рассказ» – и повесил трубку.

Когда я вернулся, индеец посмотрел на меня из-за стакана и спросил: «Кто это был?»

Я сказал: «Никто», – и точнее ответа я бы дать не мог.

[Джону Уильяму Коррингтону]

21 апреля 1961 г.

Очевидно, что многие наши нынешние редакторы по-прежнему работают по учебнику, по правилам того, что им предшествовало. Святилище правила для чистого творца не значит ничего. Скверное

творение оправдывают, если нас размывает от камуфляжа или вина, что льется из пляющихся глаз, но ничем не оправдать творенье, изувеченное указками школы и моды либо мнительного молитвенника, утверждающего: форма, форма, форма!! суй в клетку!

Позволим себе простор и ошибку, истерию и скорбь. Давайте не будем сглаживать углы, пока у нас не возникнет шар, что укатывается прочь, будто в ловком фокусе. Всякое бывает – попá в сортире пристрелят; шершни жалятся героином без ареста; записывают твой номер; твоя жена сбегает с идиотом, который никогда не читал Кафку; раздавленная кошка, кишками ее череп приклеен к мостовой, а машины много часов едут мимо; цветы в дыму растут; дети умирают в 9 и 97; с сеток давят мух... история *формы* очевидна. Я последним стану утверждать, будто мы можем начать с нуля, но давайте уже выберемся с 8 или 9 и переместимся повыше, к 11. Можем и дальше твердить – чем и занимались – про то, что есть правда, и делали мы это, я полагаю, совсем неплохо. Но мне бы хотелось видеть, как мы орем немножко истеричнее – если в нас хватает мужского на это – и о неправде, и о несформованном, и том, что не сформируется никогда. Вот честно, мы обязаны давать свече гореть – лить на нее бензин, если необходимо. Ощущение обычного всегда обычно, но есть и вопли из окон... художественная истерия, порожденная дыханьем в некрополе... иногда, если музыка стихает и оставляет нам 4 стены из резины, стекла или камня, или хуже – вообще без стен, – мы бедные и замерзаем в Атланте сердца. Сосредоточиться на форме и логике, «обороте фразы» кажется имбецильностью посреди безумия.

Не могу вам сказать, сколько прилежных мальчиков потрошит меня догола своими спланированными и разработанными твореньями. Творение – наш дар, и мы им больны. Оно плескалось у меня в костях и будило меня пялиться на стены в 5 часов утра. А размышление ведет к безумию, как собака с тряпичной куклой в пустом доме. Гляди, говорит голос, в ужас и за него – мыс Кэнэверэл, мыс Кэнэверэл ничего нам не предъявит. черт, джек, да это время поумнеть: мы вынуждены настаивать на камуфляже, они нас этому научили – боги кашляли живьем сквозь неразличимый дым стиха. Смотри, говорит другой голос, мы должны вырезать из свежего мрамора... Какая разница, говорит третий, какая тут разница? светло-желтых мамашек уж нет, подвязка на ноге подтянута повыше; очарованье 18 – это 80, а

поцелуи – змеи, юлящие жидким серебром, – поцелуи прекратились. ни один человек долго не живет волшебством... покуда однажды утром в 5 оно тебя не ловит; зажигаешь огонь, наливаешь поспешной выпивки, а душа ползает, как мышка в пустой кладовке. будь ты Греко или даже обыкновенный ужик, что-то можно было бы сделать.

еще выпью. ну, потри руки и докажи, что ты жив. серьезность не годится. мечись по комнате.

это дар, это дар...

Разумеется, прелесть умиранья – в том, что ничего не потеряно.

[Хилде Дулиттл]

29 июня 1961 г.

Узнал от Шери М., что вы очень больны. Для большинства из нас вы почти легенда. Прочел ваш последний сборник поэзии («Вечнозеленое»). Надеюсь, не покажусь дурнем, если пожелаю вам всего хорошего и напишу вам еще.

С любовью,

[Джону Уэббу]

Конец июля 1961 г.

[...] Слышал, как однажды вечером тут некоторые мои стихи читали по радио. Я б об этом и не узнал, но [Джори] Шёрмен, который за таким следит, сообщил мне по телефону, поэтому я напился и послушал. Очень странно слышать, как к тебе твои же слова возвращаются через динамик радио, который тебе новости излагал, пробки на трассе, играл Бетховена и профессиональные футбольные матчи. Одно стихотворение, первое из 15, было о розах из «Изгоя». Кроме того, читали части моих писем касаясь редакторов и поэтических читок и критиков или чего-то вроде, и публика там время от времени смеялась, как и парочка стихов, поэтому мне не так уж

скверно было, но когда я встал себе еще за пивом, наступил на 3-дюймовый осколок на полу (у меня кавардак), и стекло вонзилось мне прямо в пятку, и я его выдернул и пару часов истекал кровью. Хромал потом неделю, а однажды проснулся весь в поту, в жару, блевал... некоторое время думал, это с похмела, но потом решил, что все же нет, и поехал на Голливуд-блвр к какому-то доктору Лэндерзу, сделать укол. Вернулся, открыл пиво и тут же наступил на другой осколок.

Господи, я прочел в «Изгое», что ранний [Генри] Миллер печатал свои работы под копирку и рассылал разным людям. Для меня такое немислимо, но, предположим, Миллер думал, что ему ничё не светит, поэтому пробиваться ему придется самостоятельно. Видимо, каждый на это по-разному наваливается. Хотя я вижу, где «Гроув» издали его «Тропик», и теперь это безопасно, хотя в большинстве мест довольно-таки сдувается. Кроме того, заметьте, что журнал «Жизнь» и дал Хем. по жопе довольно неплохо. Чего он заслуживал, ибо вполне себе продался после ранних своих работ, что я всегда знал, но ни разу не слышал, чтоб об этом кто-то говорил, пока он не покончил с собой. Зачем они дожидались?

Фолкнер, по сути, очень похож на Хема. Публика заглотила его одним огромным куском, а критики кое с чем чуть потоньше, чувствуют себя в безопасности и подначивают их, но у Фолкнера много чистого дерьма, хотя дерьмо это умное, умно разряженное, и когда он прет, им трудно его стереть, потому что они его не вполне понимают, а не понимая его, скучные и пустые куски, прорву курсива, они считают, будто это означает гениальность.

[Джону Уильяму Коррингтону]

Конец августа 1961 г.

[...] Как вам известно, я очень небрежен. Я не храню копирочные копии. Того, что вышло и принято, копий у меня нет. Того, что вышло и не вернулось, копий у меня нет. Иногда нахожу обрывок бумаги, на котором что-то написано или напечатано на машинке, но я не знаю, приняли его или отправлял ли я его вообще. Я даже потерял тот листок, что был у меня когда-то, где говорилось, куда я посылал некоторые

стихи или где некоторые приняли, но как назывались эти стихи, я не знал. А теперь и бумажку потерял. У меня однажды была жена [Барбара Фрай], которая меня очень изумляла. Она писала стихотворение и отправляла его, записывала, как оно называется, дату, куда отправлено... У нее была большая бухгалтерская книга, очень красивая штука, и в ней – список журналов, и этот список журналов, исчерканный спиралью или синими линиями поверх оранжевых или как-то, и она рисовала звездочки ****, которые все это оплетали воедино. Чертовски красивая штука просто. Она могла прогнать одно стихотворение через 20 или 30 журналов, просто ***** и ни разу не отправила ничего в один журнал дважды, ура. У нее и для меня была такая книга, но я в своей рисовал неприличные картинки и всякое. И когда она выделяла стихотворение, каждое, что она сочиняла, снова перепечатывалось на особой бумаге, а потом клеивалось в тетрадку (с датой). Мне б такая сноровка не помешала, но вот правда, мне кажется, я б от этого слишком уж чересчур себя чувствовал так, будто торгую облегающими лифчиками вразнос.

1962

[Джону Уильяму Коррингтону]

Апрель 1962 г.

[...] Фрай однажды подначила меня сделать пачку карикатур с подписями, как бы шуток таких, и я не спал всю ночь, пил и рисовал эти карикатуры, смеясь над собственным безумием. К утру их было так много, что все в конверт не помещались, ни один по размеру не подходил, поэтому я склеил из картона здоровенную такую штуkenцию и все это отправил то ли в «Нью-Йоркер», то ли в «Эсквайр», внутрь вложил другую такую же картонную штуку с соответствующими марками. Ну и, черт, им, вероятно, стало видно, что я либо любитель, либо чокнутый. Они ко мне так и не вернулись. Я написал про свои 45 карикатур, и они не вернулись. «Ничего подобного от вас не получ.», – написал мне в ответ какой-то редактор. Но, сидя в парикмахерской пару месяцев спустя, я наткнулся на одну мою шутку в каком-то журнальце, я полагаю – «Мужчина», на ней показан парень, жокей, нахлестывает лошадь таким вот круглым ядром с шипами, на цепи, а другой парень у барьера говорит третьему: «Он мальчишка очень грубый, но отчего-то добивается результатов». Слова там немного поменяли и рисунок изменили, но картинка в точности казалась моей. Ну, черт, можете вообразить что угодно, если хочется вообразать что угодно. Но я не знаю, я даже не смотрел, обычно я даже не заглядываю в журналы, а может, и да, только этого не сознаю, но я все время натыкался на те же самые мои задумки и рисунки, только чуть измененные; все это было слишком уж близко, все слишком уж то же самое, чтоб оказаться не моим, только, чувствовал я, мои лучше приведены в исполнение, я не в смысле приговора, убили их они. А когда я наткнулся на один из своих самых крупных рисунков без подписи (в смысле – идею рисунка, сам он был не мой) прямо на ОБЛОЖКЕ «НЬЮ-ЙОРКЕРА», тогда-то я и понял, вот оно – там та же самая чертовня была: крупное озеро лунной ночью и те самые десятки каноэ, в которых полно мужчин и женщин, и

в каждом мужчине играет на гитаре и поет своей женщине серенады – только в одной лодке в самой середине озера парень в каноэ стоит и дует в такую огромную трубу. Я забыл, рисовал я ему в каноэ девку или нет, нврн., рисовал, но я теперь старше и вижу, что без шмары смешнее было б. В общем, все это пошло насмарку, и карикатур я больше не делал, покуда Бен Тиббз не проебал то, что должно было стать обложкой к «Рисковым стишкам», и я сказал [Карлу] Ларсену хосподи да я наверно и получше нарисую. Я в том смысле, что, как и с карикатурами, с романом, я не знаю механики, как это делать, и не хочу тратить много слов, делая все шиворот-навыворот, что какой-нибудь лизоблюд перекрутит это все себе на пользу. Я думал, мир Искусства и все такое окажется почище. Говно это. В мире Искусства больше злых и нечистоплотных осьминогов, чем отыщется в каком-нибудь деловом предприятии, потому что в деловом предприятии у парня воображение что у малька – просто занять себе дом побольше, и машину побольше, и лишнюю шлюху, но обычно позыв этот не исходит из какого-нибудь вывернутого нутра, что вопиет к ПРИЗНАНИЮ СЕБЯ превыше всяких пристойностей и прямоты, как бы ни добывались они. Вот почему кое-кто из этих редакторов – такие чертовы мудаки: сами себе оттяпать ничего не могут, поэтому стараются прилепиться к тем, кто рубит и режет немного чистого мрамора... вот почему многие из них не отвечают на письма с запросами о сданной работе: все огни у них внутри разьебали себя в куски и погасли.

Я как-то ходил в вечернюю школу, по настоянию Фрай, учился, как это называется? коммерческому Искусству. Парень, который ему учил, работал на какое-то подразделение, что занималось комм. искусством, а по вечерам преподавал в школе. Мы приносили на занятия свои работы, и он выставлял их на грифельной доске, а однажды перед самыми рождественскими праздниками сказал: «Теперь моей компании нужно сделать вывеску заправок ТЕКСАКО, и я хочу возложить эту задачу на вас. Дайте нам что-нибудь для рождественской рекламы». Ну, подошло время, и вот он шел вдоль доски и рассматривал рисунки, пока не добрался до моего, и с большой яростью и гневом повернулся к классу и заревел: «КТО ВОТ ЭТО СДЕЛАЛ???!» «Я, – признался я, – мне показалось, что звезда ТЕКСАКО, мысль повесить звезду ТЕКСАКО и эмблему на верхушку елки будет хорошо». «Никаких рождественских

елок, пожалуйста. Это никуда не годится. Нарисуйте мне что-нибудь другое». И пошел дальше.

Пару недель спустя он опять стоял перед классом. «Ну, моя компания и руководство ТЕКСАКО выбрали себе рождественскую рекламу». И показал ее всем. И вот в тот миг, в следующую же секунду, как только он это сделал, я заметил, как взглядом своим он отыскивал меня. Вы знаете, что он показывал: рождественскую елку со звездой эмблемы ТЕКСАКО на верхушке, только на дерево они еще посадили маленького человечка с заправки... Я ничего не сказал. Можно было б его как-то опозорить. Но я не склонен спорить, дуться. Я чувствовал, что он знает, что я знаю, и этого было достаточно. Я свалил с занятий и напился. Потом, уже на рождественские праздники, мы проезжали мимо заправки «Тексако», и я сказал Фрай: «Смотри, детка, мой рисунок... ты же мной гордишься, да?»

я вот о чем – напиши я этот роман на туалетной бумаге, кто-нибудь им бы подтер себе задницу. про Обезьяну я написал рассказ лет 15 назад или около того, и он ТОЖЕ КО МНЕ ТАК И НЕ ВЕРНУЛСЯ. и копий не осталось. но сомневаюсь, чтобы Джон Коллиер его списал. У него, возм., больше таланта, чем у меня, и на такое вот пускаться не стоит. Но рассказ про обезьяну принес мне много пользы: обычно я излагаю его дамам в постели после того, как остальное уже сделано и мы более-менее расслабились. Фрай считала, что изложение его чудесно, а другая дама воскликнула: «о, я сейчас расплачусь, я расплачусь, такой он грустный и красивый». и расплакалась. Наверно, причина, что он (рассказ) не вернулся, в том, что я был тогда без денег и пил, и писал свое барахло чернилами, печатными буквами. В итоге я дошел до того, что печатными буквами мог писать быстрее, чем просто от руки, и всякий раз, что-нибудь записывая, писал печатными буквами, и люди говорили: «Что за хрень это с тобою? Ты что, писать не умеешь?» Не могу на это ответить. Я не знаю, умею я писать или нет. Но я точно сегодня налягу на болонскую... натуральную болонскую и живот себе набью.

Это «Туалетно-бумажное обозрение» предваряет вариант, опубликованный в «Воплях с балкона» (1993).

[Джону Уильяму Коррингтону]

Конец апреля 1962 г.

У меня есть мысль, Уилли. Давайте-ка мы с вами издадим номер. Назовем «Туалетно-бумажное обозрение». Нам даже дубликатор не понадобится. Я просто добуду рулон и заправлю вот в эту машинку. Мы, только вы и я, выгоним туда, в это «Туалетно-бумажное обозрение», наши старые стихи, от которых никак не можем избавиться. Один экземпляр в «След», один господу богу, один Шёрмену и один Шёрменовой шлюхе, которая выдержит. Где угодно. Как бы то ни было.

Туалетно-бумажное обозрение

Редакторы Уильям Коррингтон и Чарльз Буковски

Том I, № I

ежели хотите пялиться на телевизор,
нам насрать.

«Я на коленях»
Уильям Коррингтон

этим ногам нужно бежать
но я на коленях
перед женскими цветами –
ловлю аромат забвенья
и хватаю его,
еще бы,
и вечера
часы вечерние
седоглавые вечера
кивают
и после

«Я на коленях»
Уильям Коррингтон

Хэрри, привычка, а потом мы скорчили
эту рожу, и потом из Рожи
вылезли: рыба, вязы, карамелька с серым орехом,
и мы вышли наружу
и мы вышли наружу
и мы – игла соскочила, или
пленка порвалась, терпеть не могу
это больше,
я прошел 18 кварталов,
вернулся, а рожа
выросла до размеров всей комнаты,
и я понял, что это правда:
я спятил.

«Проулок, что ждет нас» Уильям Коррингтон

Наверно, надо и дальше,
утрату за утратой,
мы должны дальше,
пока последняя утрата,
скажем, в каком-то проулке,
кровь стекает, как
галстук ха ха, нас
надурили и забили до смерти,
выторговали у любой выгоды,
любой любви, любого отдыха,
руки на стены, уаа уааа!
мимо (грр!!) машины,
дрянные любовники дают дрянные
любовные обеты, рыба больная рыба
уходит с отливом
уаа уааа!! моя голова
щас падает, мы почти
в черный сон,
никогда уж не стать нам гением,
солнце несет тюльпаны, дождь несет
червей, Бог несет гения
и убирает гения тюльпан
червя чтобы все началось сызнова
новые вещи навсегда
утомительно утомительно думать
тело теперь плашмя
када мелкие кризы бегут к моим башмакам
сбегают вновь
и меня видит мальчонка
и он тоже
бежит бежит
но его поймают

как тюльпаны
как Папку
как Бельмонте
как большие камни, что крушатся
в песок
что режет там, где есть кровь
утрата за утратой
где бы мы ни
были.

(и нам по-прежнему насрать, смотрите вы ТВ или нет.
Нам нужны подписчики. Пожалуйста, помогите.)

[Джону Уильяму Коррингтону]

Май 1962 г.

[...] Сегодня получил письмо от какой-то женщины. Она мне Ницше излагает: «что мы делаем, того никогда не понимают, но всегда лишь хвалят и порицают». А потом говорит: «Должно быть, вы это имели в виду, когда в своем письме говорили о дурном влиянии похвал. Но вообразите – когда хвалят И понимают! В этом, Друг мой, единственный род практического рая для писателя, или художника, или композитора...» «Очень точно – художник определенно должен переходить от одного творения к следующему, но ни одно из них не есть целиком новые начала – ни у чего вообще на самом деле нет нового начала. Одно творение развивается из другого. Одна цель превращается в десять тысяч других. Когда находите вдохновенную мысль у себя в голове, вы, конечно же, не считаете, что она до того нова, что дыханье спирает? Она возникла из столетий подводных творений идей. Но я не намерена начинать долгий затянутый «очерк...»
Ну, слава богу за это.

что за кучка ебанных предубеждений и что за унылый зашоренный взгляд. Эти интеллигентные люди действуют мне на яйца. Каждое начало для меня (ДЛЯ МЕНЯ!!!) есть НОВОЕ НАЧАЛО. Еще как,

хосподи. Как еще мне знать, мертв я или нет? что ерзает. что такое. пиздюки. Я должен видеть пёзды. Каждый цветок – новый цветок. Остальные мертвы. Хорошие они были, но мертвые. Я понимаю это, когда смотрю на мост или здание, что эта штука – КОМПИЛЯЦИЯ так называемого знания. Так ебись ты конем. Когда я пишу стих, я добавляю шкворень, красноносый шкворень с кислой серединой и окровавленной жопой. Или, может – еще лучше – ВЫНИМАЮ ШКВОРЕНЬ. Но я не желаю, чтобы мне подрезали поджилки такие вот целенаправленные очерки. Если этой суке хочется приехать и поскакать со мною на пружинках, ладно. А иначе мысли мои не «вдохновлены».

Кто-то говорит, видели Мейлера по ТВ. Говорит, очень невротичен и фразу не может завершить. Мейлер, может, и не очень, но какое отношение это имеет к письму. Если человек очень Н. и не может закончить фразу, есть шанс, что он окажется писателем получше, а не наоборот. Что не так? Все смотрят задом наперед. [...]

Мне ваши письма нравятся больше, чем Генри Миллера. Миллер, похоже, довольно стервозен и тошнотворен, как будто пытается заставить Уолтера Л [оуэнфелса] куда-то вскарабкаться. И потом это вот, с Хаксли. Немножко чересчур Х. подражает М., немножко слишком уж старательно. Почти что как если б Миллер считал, что Хаксли почти что хорош и ему бы пришлось по нему немного потоптаться, чтоб стянуть вниз. Хаксли вас не должен беспокоить, если принимать Хаксли как Хаксли, слишком начитанного, слишком образованного, почти блистательного годона, забывшего, где кровь. Но писатель развлекательный. Это как сходить в театр на пьесу, которую сняли с Бродуэя после 13-дневного прогона. Шекспира не ждешь. Так чего копыями трясти?

[Джону Уэббу]

14 сентября 1962 г.

Я не знаю, как надо писать «благодарственное письмо». Я могу писать заявления об увольнении или вот такое вот:

Детка,

я знаю, что уже ни на что не гожусь. Я тут потоптался, подумал об этом, пока ты на работе. Допиваю пинту. Нашел в комодке десять долларов и ухожу. Оставляю тебе свой экземпляр «Анатомии для художника» Енё Барчаи и 2 «Энциклопедии великих композиторов» Милтона Кросса. Присмотри за собакой. Господи, как же я любил эту гончую!

тв.,
Бубу...

Тогда я надеюсь, эта Награда не уберезит мою глотку от клинка, хотя запросто может. Однако люди и получше моего оставляли свою кровь в сухих георгинах. Я просто надеюсь, что сумею вышибить из себя еще кое-что, и оно впустит в меня и во все остальное еще чуточку света.

Такова, конечно, цель Художника, помимо попыток не сойти с ума. В общем и целом, сколь пессимистичны, аналитичны или математичны мы бы насчет такого ни были, я не могу не думать, что в битве есть благородство, что к смерти немного приспособились, что в рыданьях наших, и хохоте, и ярости мы оставили хоть какую-то отметину, какую-то дорогу, что-то такое, *за что можно держаться*, кроме нашей любви на любовной постели, кроме хлопьев ночи и надгробий. [...]

Я по-прежнему в тумане насчет всей этой Награды и хожу, пробуя ее кончиком языка. Во мне есть много детского. Если все-таки решите продолжать и захотите использовать письма или части писем, нормально. Я думаю, само письмо важно как форма, сродни стихотворной форме, и оно умеет говорить то, чего не скажет стихотворная форма, а также наоборот. Странный это день. Мне почти что хорошо. [...]

Вы знаете единственное, Джон, что знаю я: искусство есть искусство, а имена вторичны. Мы не политики литературной сцены. «Черная гора», «новая критика», «Папка», Западное побережье, Восточное побережье, Г. с А., Л с Икс, мы не знаем, кто спит, бля, с кем, и нам плевать. Зачем эти дровичлы сбиваются в кружкѣ? Чего они жалуются? Ебаная шайка сисько– и хуесосов пытается выместить прочь любые голоса, кроме собственных. Это же естественно. Выживание. Но кому охота выживать хуесосом, кроме тех, кто этим хвалится? Как вам известно, я сам немного редактировал и знаю, до чего ужасны эти напряги. Ты печатаешь меня, я печатаю тебя. Я друг Дж. Б. (и я не про

«Дж. Б.» Маклиша). Все боятся «Следа». [Джеймс Бойер] Мей публикуется в половине или $\frac{3}{4}$ журналов в этой стране не потому, что его стихи хороши, а потому, что он редактор «Следа». Это неправильно. Еще бы. А есть и другие несправедливости, что просачиваются на эту сцену, как слизь. Искусство есть Искусство, и Искусство само себе должно быть молотком.

Считаете, я действительно схожу с ума? Зачем я пишу такое длинное письмо? Что-то тут сочтется.

Так оно бывает, когда вырезаешь стихи? Все ли тут обваливается? твоя работа, жизнь, жена, страна, рассудок, все, кроме твоей любви и звука слова, резьбы, резьбы, резьбы... о боже мой, да

Я знаю, каково было Ван Гогю.

Интересно, носил ли он говно и кровь у себя в штанах и писал на слоновьих ушах?

Как этим мальчишкам удается, этим волосатым поэтам и практикам с 4-ф, когда они пьют козье молоко, пробивают карточки прихода на работу, растят семьи, переезжают в Глендейл, голосуют за Никсона, драят свои авто, хоронят бабулю, пьют витамины, как им вот это все удается. как им удается все это????
стоять *снаружи* от пламени?

Вы мне скажите, пожалуйста, можете ли осторожничать и все равно петь прекрасную песню безумца? Нет. Я вам скажу. Это невозможно. Потом... есть и другой тип, такой же тошнотворный, кто *играет* в Художника, а Искусства у него нету. Бороды. Мари. Сандалии. Джаз. Чай. Г. Кофейни. Гомо-фигня. Нирвана нищевородская. Поэтические читки. Поэтические клубы. Беэ, мне надо остановиться. Меня и так от всего тошнит.

Буковски отвечает на письмо Феликса Стефаниле, написанное как отклик на то, что редакторы «Изгоя» назвали Буковски «Изгоем года».

[Джону Уэббу]

Конец октября 1962 г.

[...] По поводу Стефаниле: люди вроде Феликса озадачены. У них есть все эти представления и предубеждения о том, какой *должна* быть поэзия. В основном они по-прежнему в XIX веке. Если стихотворение не похоже на лорда Байрона, то у тебя не все дома. Политики и газеты много разглагольствуют о свободе, но стоит только начать ее применять, либо в Жизни, либо в форме Искусства, тебе светят кутузка, насмешки или непонимание. Иногда я думаю, вставляя этот листок белой бумаги в машинку... скоро ты умрешь, все мы скоро умрем. Ну а быть мертвым, наверно, не так уж плохо, но пока жив, лучше всего, должно быть, жить из источника, в тебя засунутого, и если ты достаточно честен, может, и окажешься в вытрезвителе 15 или 20 раз, и потеряешь несколько работ и жену или 2, а может, и дашь кому по башке на улице, и спать время от времени будешь на лавочке в парке; а если дойдешь до стиха, тебя не больно-то станет заботить, чтобы писать, как Китс, Суинбёрн, Шелли; или вести себя, как Фрост. Ты не станешь морочиться спондеями, счетом слогов или рифмуется ли у тебя конец строки. Ты хочешь это записать, жестко, или грубо, или еще как – лишь бы как-то правдиво дошло. Не думаю, будто это значит, что я «кувыркаюсь в левом поле»... «играя обеими руками» и во весь голос, как излагает м-р С., «размахивая своими стихами, как флагом». Это скорее подразумевает ощущение, чтоб услышали во что бы то ни стало. Это подразумевает плохое искусство ради славы. Это подразумевает нечто театральное и фальшивое. Но такие обвинения звучат через века во всех Искусствах – продолжают и поныне в живописи, музыке, скульптуре, романе. Масса – как действительно масса, так и Художественная (только в смысле крупных практикующих количеств) – всегда намного отстает, безопасно практикуя не только в материальной и экономической жизни, но и в жизни так называемой души. Если носишь соломенную шляпу в декабре, ты покойник. Если пишешь стихотворение, избегающее массового гипноза гладко-мягкой поэзии XIX века, сочтут, что ты пишешь плохо, потому что звучишь ты как-то неправильно. Они хотят слышать то, что слышали всегда. Но забывают, что каждый век требуется 5 или 6 хороших человек, чтобы все оно выталкивалось вперед из застойности и смерти. Я не утверждаю, что я

один из таких людей, но уж точно я, к черту, утверждаю, что я *не* один из других. Отчего и болтаюсь подвешенным – СНАРУЖИ.

В общем, Джон, я бы сказал: публикуйте штуку Стефаниле, если найдете место. Это точка зрения. И я бы предпочел, чтобы меня называли каменщиком или кулачным бойцом, а не поэтом. Так что все не совсем уж скверно.

[Редакторам «Побережий»]

Конец 1962 г.

Биог.? Я безумен и стар и несую околесицу, дымлю, как адские леса, но чувствую себя все лучше и лучше, то есть – хуже и лучше. А когда сажусь за печатку, это как сиськи на корове вырезывать – штука великая и большая. Затем опять же я сознаю, что мне надо вогнать латынь, и осанку, и сноба, и Паунда, и Шекса, и привет приват ад – что угодно, чтоб эта штука бежала, ура! Но я худ, как фуфло, а потому часто пишу скорее дурное стихотворение, написанное в основном мной, а не хорошее, написанное в основном кем-то другим. Хотя, конечно, поклясться этим не могу. Проверка и перепроверка. К чему пытаться? Те, кто постоянно сидит в симфонических залах, обожают творенье, но сами творить не могут. Я езжу на скачки, где у них есть еще и бары. Да здравствуют безумные боги, сотворившие эти прекрасные крутящиеся штуки.

1963

[Джону Уильяму Коррингтону]

20 января 1963 г.

[...] Теперь, когда вы Ч[арлз] П[ёрси] Сноу и Лайон[ел] Трилл, и Т. С., и вульгатные желания фрустрированных дыбовласов окажетесь в списке, мне б лучше держаться на вашей стороне, на хорошей, на божьей, куда, воображаю, заткнут ваш.357-й, пока вы танцуете сарабанду. Все это вполне интересно, поскольку вы поэт до черта лучше, чем критик, и пока вы говорите о других, другим следует читать вас, вы раскочегариваетесь, как грузовик сухого льда, груженный на Трассе Сан-Бердо. Как бы то ни было, оно само собой уладится... О [Роберте] Крили, да, это более или менее финт: поэзия (его) настолько бела, суха и пуста, что они прикидывают, ну, да, господи, наверно, это действительно что-то, поскольку там ничего нет, а этот человек должен БЫТЬ таким ОЧЧЕНЬ ТОНКИМ И ИНТИЛЛИХЕНТНЫМ, бож ну да, потому что я, похоже, не пымаю, чё он деет. Это как в шахматы играть в солнечной комнатке, когда за квартиру упрочено на десять лет вперед и никто не знает победителя, потому что победитель диктует правила и при этом не сильно-то старается. Если проснешься в переулке где-нибудь на задворках, рубашка у тебя рваная, и поднимаешься по кирпичикам, между колен и по яйцам тебе дует холодным ветром, во рту полно крови да пара шишек на голове, и вот ты суешь руку в карман, задний, и у тебя возникает это ощущение пустоты, рука на жопе, бумажник пропал, все 500 дубов, водительские права, номер телефона Иисуса, ты не поэт, тебя просто застали не там, и ты не знаешь, как себя вести. Когда сука с большими дойками хохотала над всеми твоими шутками, надо было стакан ей прямо в щель загнать. Всякие Крили никогда не познают смерти: даже когда она придет, будут думать, что за кем-нибудь другим. [Грегори] Корсо хотя бы думает о Смерти. И Корсо. Если б его фамилия была Хамачек, он бы нипочем не стал известен. Мир Искусства – это как пучок ебаного плюща,

растущего повсюду. Все там зависит от дождя и удачи и от того, где здание, и кто мимо ходит, и чё ты делаешь, типа с каким плющом ты ползаешь или спишь с каким, или с какой бандой «Черной горы», или, боже, надо остановиться, меня тошнит.

[Джону Уильяму Коррингтону]

9 марта 1963 г.

[...] Не думаю, что «Изгой» № 3 существует вообще. У меня такое чувство, какое было у меня пацаном в старших классах, когда меня заставляли сидеть в телефонной будке, пока я ждал встречи с директором, солидным с виду мудаком, седым, в пенсне, с викторианским голосом, и он меня отчитывал, продержав в той будке час с «Домашним журналом для дам». Я забыл, что натворил тогда; должно быть, что-то вроде убийства. Пару лет спустя я прочел, что старикана этого замели за незаконное присвоение средств. В общем, я теперь сижу с «Изгоем»-3 в телефонной будке, жду. Меня нельзя упрекать за то, что сержусь. И 8 месяцев не прошло, как я сидел на краю проклятого обрыва, проверяя большим пальцем бритвы на остроту.

Коррингтон написал статью «Чарльз Буковски: три стихотворения», опубликованную в третьем номере журнала «Изгой», а также «Чарльз Буковски в полночь» – предисловие к поэтическому сборнику Буковски «Оно ловит сердце мое в ладони» (1963).

[Джону Уильяму Коррингтону]

19 марта 1963 г.

Получил «Изгой» номер 3, и виноград фанточчини, и ого!!! – тама на обложке я возник, мучитель крыс, детишек и старушек, и честь тяжка, почти непереносима, поэтому знаешь, я сделал то, что проще,

напился, но на самом деле этой штуке еще только предстоит принять форму действительности, и я знаю, что такие разговоры утомляют, но теперь им меня никогда вообще-то не сбить, потому что штуку эту сделали 2 человека вопреки всему, и неудивительно, что их интересуют ИЗГОИ, потому что, видишь же, ОНИ сами таковы? И что самое приятное: они меня не изувечили, не превратили в урода, а дали всему лечь как есть. Вот что бывает, когда у редакторов есть ДУШИ, и после битв и ненависти к редакторам всю свою жизнь вот оно к чему свелось: к почти что священному трепету перед мастерством, манерой и чудом 2 этих людей – не потому, что они поместили меня на обложку, напечатали кое-каких писем и т. д., а по-крупному, они сделали это настолько дьявольски хорошо, что ни гордость, ни честь не утрачены. Я очень сознаю, что рассудок у меня со временем размягчится от выпивки и старости, – если доживу, – но ничего, помимо смерти, никогда не отберет на сей раз у меня. Все стены и шлюхи и дни и ночи ада не заработали мне этого. Мне повезло. А поскольку мне... не везло... я беру и принимаю этот № 3, века моей жизни прошли, почти, все ушло, кроме этого.

Никак не успокоюсь, до чего хорошо они это сделали. Должно быть, они больше понимают про меня, чем я сам про себя.

А теперь, поверх всего, я получаю от Джона и эти записки, синенькие клочки бумаги и т. д.: «Скоро займемся книгой... Приезжает Коррингтон, некогда, некогда, некогда...»

Книжка поверх всего этого кажется почти невозможной, но если только ты не считаешь, что я размяк – радость и впрямь тут изо всех щелей сочится, – пойми, определенная уступка 2 или 3 людям не значит, что размяк (пока?) головой. Я не Фрост: это он поссорился, как любовник, со всем миром и вышел в ссоре победителем; у меня с миром был бойцовский бой, и я его проиграл. Я намереваюсь и дальше проигрывать, но сомневаюсь, что намерен бросать эту драку. Есть разница, и, если я хорошо отзываюсь о 2 или 3 людях, делается это потому, что это мое говорение пробивается, и я толком не знаю, как его оберечь, не хочу. [...]

Я вот ап чем, Уилли: ты написал хорошую статью о 3 моих стихотворениях, и, надеюсь, ты сделаешь предисловие к книжке, ты одна из самых больших удач, что мне выпали, за исключением Джейн и той лошадки, что принесла мне за двойку \$222,60 или что-то вроде 2

или 3 года назад. Мягко говоря. Джейн умерла. Лошадь, возм., тоже умерла. Ты тут. Я молюсь. Ты, как Джон и Луиз, оказал мне большую честь, и понимать это – значило... без давления, без принуждения... значило, потому что для тебя это было только значение, я принимаю это легко и с теплотой, южный ты мерзавец, и «Трагедию листьев» я помню (как стихотворение) из них лучше всего. «Старик, мертвый в комнате» может еще и сбыться. Самому себе эпитафию (чем я его и задумывал) я бы писал лишь потому, что несколько до срока мог видеть, что так оно и становится, и я до сих пор этого придерживаюсь. Слава или бессмертие моими не станут. На самом деле я их и не хочу. В смысле это ж жуть девь серь ширь что??? Тот, кто ебется, хочет вставлять себя-хуй в ту долгую черную зарю с НАМЕРЕНЬЕМ, должно быть, с ним поистине что-то не так либо грязь у него под ногтями.

[Эдварду ван Элстину]

31 марта 1963 г.

Получил ваше добро на 2 стихотворения «Рисовальщик рыб» и «Прорыв».

Насчет «Изгоя» № 3, Уэбб делает его по-трудному, конечно, и по преимуществу один, поэтому, когда натывается на какую-нибудь драгоценную компанию с посохом и в прогулочных шортиках, собравшуюся на вершине горы в Северной Каролине (или откуда там еще происходит Школа «Черной горы»), на память приходит чирей (это что-то уже улеглось до того, как мы – читатели – дотуда добрались), и на сей раз он лопнул. Конечно, всю историю Искусств – живописи, музыки, лит., существовали эти школы, иногда потому, что отдельный художник был слишком слаб, чтобы пропадать в одиночку (в одиночку гораздо легче преуспевать), или в другие разы, потому что из групп художников критики *делали* школы; но черт, вы все это и так знаете. Мне же хотелось бы отметить, однако, что Уэбб выделил место Крили и выделил место крилитам лишь на основании кажущейся слабости или силы их работы; но Уэбб проговаривает, что они не способны работать поодиночке и существует целая сеть обороны, которая приводится в

боеготовность всякий раз (похоже), когда критикуют кого-то из святых членов.

Моя критика Крили гораздо (по видимости) злобнее: я не считаю, что он умеет писать. У меня нет сомнений, что он то же самое думает и обо мне.

Художник способен лишь на одно или 2: продолжать писать или прекратить писать. Иногда он продолжает и прекращает одновременно. В итоге, конечно, Бесстрастный Критик сцапывает всех нас и мы прекращаем ого-го как.

Я рад, что вы думаете о защите души, многие про это забыли или же это считается Романтической Чепухой более невоплощенного прошлого, когда казалось, что мы про себя еще не знали столько, сколько знаем сейчас. Но основа все та же: если достаточно долго валяешься в дерьме – выглядишь будешь им же. Нам нужно лишь одно – выяснить, что это такое, чтобы в нем не валяться. Мне так же не хотелось бы преподавать первокурсникам английский, как точить болты на заводе. И то и другое – достаточное проклятье само по себе. А когда с этой частью разделаешься, нам прислуживает досуг, который мы оставляли на потом. Это крупный клиент. И множество раз, сколь хорошо б ты этого клиента ни обслужил, другая часть – обточка болтов, преподавание первокурсникам английского, от тебя отъедает. Некоторым художникам (в прошлом больше, по моим ощущениям, чем теперь) перепадает больше досуга от того, что они не работают, а следовательно – голодают, чтобы нагнать Время, но в этом слишком уж часто зубастый капкан: самоубийство или безумие. Я теперь могу писать лучше, думаю, на полный желудок, но это, может, потому, что я помню все те годы, когда он был пуст, и что он, вероятнее всего, вновь будет таким же. Спасение души зависит от того, что делаешь – а не от очевидных каких-то вещей, – и от того, с чего и со сколького начинаешь и сколько можешь, вероятно, даже *приобрести* по пути. Есть профессиональные спасатели душ, интеллектуалы, которые следуют шаблонной формуле и, следовательно, спасаются лишь как-то по шаблонному – а это все равно что не спасаться вообще. Немногие мои знакомые иногда меня спрашивают: «Зачем ты пьешь и едешь на скачки?» Им было б куда понятнее, если б я месяц сидел дома и паялился на стены. Не признают они вот чего: так я уже делал. Не признают они вот чего: если я не буду слышать жесткого топота и

грохота слов у себя в кишках, мне конец, и поэтому я обращаюсь ко всему, из-за чего это все возникает (бутылке) (толпе), пока что. Дальше, может, мне будет все равно.

Это сочинение стихотворения часто приводит к двери посторонних дам, они стучатся и думают, что стих означает любовь, поэтому мне приходится давать им любовь, и это, может, – хаха! – то, что остается от души... уходящей туда. Наверно, часть ее – где-то в районе брюха. Последняя вот ушла сегодня днем после 4 дней и ночей, и я сажусь писать вам эту штуку про... эстетику, и Школу «Черной горы», и что я получил ваше добро насчет 2 стихотворений, и, конечно, чек мне тоже не помешает. День был теплый и долгий в каком-то смысле, все глаза заляпаны любовью... подглядывают за мной между прутьев кровати, а я читаю результаты скачек... черт бы драл, черт, и это жизнь? Она так делается? Осталось 9 бутылок пива и 16 сигарет, в последнюю ночь марта в 1963 году, Куба и Берлинская Стена, и все эти стены здесь в трещинах, я в трещинах, хрупкие 42 года растрочены... ван, ван, Зверь – не Смерть...

Коррингтон опубликовал «Чарльз Буковски и дикарские поверхности» в «Северо-западном обозрении» в 1963 году. Строки, цитируемые Буковски почти дословно, взяты из «Западного ветра», который считается фрагментом средневековой поэзии.

[Джону Уильяму Коррингтону]

1 мая 1963 г.

все вокруг увешано красными флажками; красными трусами во всяком случае... вернулись 3 отвергнутых стихотворения от [Серхио] Мондрагона, очень резкие. все теперь нормально, и я вижу 2 передними глазами своими.

– о поэзии поверхностей, я рад быть дикарем, в чем меня и обвиняют, рад не принадлежать, и ты это, конечно, понимаешь, потому что, похоже, неплохо умеешь заглядывать за очевидное. Я много часов провел в библиотеке с Шопен [хауэром] и Ари [стотелем], а также Платоном и всеми прочими, и когда в тебя вонзаются эдакие зубы, это

не настраивает на спокойствие и размышление. Дважды сегодня на бегах ко мне подходили люди, первый спросил: «Эй, а вы не работали когда-то на заводе “Студебекер”?» Другой парень был похуже – он сказал: «Слушайте, а вы никогда хлебный фургон не водили?» Ни того ни другого я не делал, но делал множество другого подобного, от чего голова моя как бы вбилась в форму лягушки неослепительной, и они прикидывают, что я хлебнул, а я и хлебнул, только они мыслят в понятиях еще одного бедного ебилы, который хлебнул. Тонкие и кружевные поэзия да мысли – это для тех, у кого есть на это время. Господь от меня вполне далек, может, он где-то в пивной бутылке, и я, само собой, груб, меня огрубил, а в другом смысле я груб, потому что хочу доводить все до того, что оно есть на самом деле – то есть нож вот входит, или глядеть на очко шлюхи, вот где происходит вся работа, и мне не хочется так уж обманываться, да и сам обманывать никого не хочу. Скажем, даже подсознательно это мое «я» мыслит в понятиях СТОЛЕТИЙ, что довольно лихо. Я прикидываюсь тупым, или грубым, или хамом чаще всего ради того, чтобы *устранить* всякую херню. Может, я прикинул, что дрянь эта будет слишком уж вонять, если я стану говорить много такого, что, я считаю, *может* оказаться гипотетической правдой. Кажется, я мог бы одурачить мальчиков. Думаю, я мог бы наехать по-тяжелой. Словесами я могу швыряться, как рваными взаимными билетиками, но, по-моему, в итоге те слова, что спасутся, будут маленькими, как камешки, что произносятся и имеются в виду. Когда люди действительно имеют что-то в виду, они не произносят этого словами из 14 букв. Спроси любую женщину. Они знают. Я все время вспоминаю стихотворение, которое прочел вместе с какими-то другими стихами, ему вполне уже несколько веков, довольно старое, и это правда, что, когда отходишь намного назад, все становится простым, и ясным, и хорошим, потому что, возможно, это-то и спаслось, может, это все, что смогли выдержать годы, а может, они тогда просто людьми были получше, может, вся эта фальшивая сливочная часть XVIII и XIX веков была реакцией на правду, люди устали от правды, как они устают от зла, но кто знает – так или иначе, среди всех тех старинных стихов одно звучало примерно так, билл:

о боже
любовь держать в своих объятьях
и снова в моей

постели!

это грубо. мне нравится.

Потом люди мне говорят: «Ты зачем на бега ездишь? Зачем ты пьешь? Это уничтожение». Черт, ну да, это уничтожение. Как и пахать за \$17 в неделю в Нью-Орлеане – уничтожение. Как и груды белых тел, старых лодыжек и берцовых костей, и говна, размазанного по простыням Общей окружной больницы Л.-А... мертвые ждут, чтобы умереть... старики сосут безумный воздух, где нет ничего, кроме стен и молчанья, и окружной могилки, что как мусорная яма, ждут. Они думают, мне начхать, думают, будто я не чувствую, потому что лица на мне больше нет, а глаза выколупнуты, и я стою с выпивкой, гляжу в скаковой бюллетень. *Они* же чувствуют эдак ПРИЯТНО, ебучки, мудачье, склизкие улыбчивые лимонососные говнометы, чувствуют они, еще бы, ПО-ПРАВИЛЬНОМУ, только правильного тут ничего не бывает, и они сами это знают... однажды ночью, однажды утром, а то и однажды днем, на автотрассе, последний рокот стекла и стали, и мочевого пузыря в розораствующем свете солнца. Пусть забирают свои плющ и спондеи и суют их себе в жопу... если там пока ничего нет.

Кроме того, грубым быть выгодно, дружок, еще как ВЫГОДНО. Когда все эти женщины, читавшие мою поэзию, стучатся ко мне в дверь, и я приглашаю их зайти и наливаю им выпить, и мы говорим о Брамсе или Коррингтоне, или о Сверке Гордоне, они все это время знают, ЧТО НЕИЗБЕЖНО ПРОИЗОЙДЕТ, и от этого беседа становится приятной

потому что уже скоро эта сволочь просто
подойдет и цапнет меня
и примется
потому что уж он-то повидал
он ГРУБ

И вот так, поскольку они этого ожидают, я это и делаю, и оно очень быстро убирает с пути множество барьеров и никчемной болтовни. Женщины – они как быки, дети, обезьяны. Хорошеньким мальчишкам и

толкователям вселенной тут ничего не светит. Они в итоге просто дрончат в чулане.

На работе есть один парень, он говорит: «Я им читаю Шекспира».

Он по-прежнему девственник. Они знают, что ему страшно. Ну, страшно-то всем, но мы ломим вперед.

[Марвину Мэлоуну]

5 августа 1963 г.

Вот, я поднялся к себе с тяжелым конвертом, думая, что ж, возм., они все по-прежнему там, это трудно, как гонять слонов по жидкой грязи, но я открыл его и обнаружил, что вы взяли ОДИННАДЦАТЬ, а это много, сколько б я вам ни посылал. Не особо знаю, какие оценки вы поставили остальным; я не залипаю на чтении своего барахла после того, как оно написано. Это как держаться за увядшие цветы. Говорят, Ли Бо сжигал свои и спускал по реке, но я так прикидываю, что в своем случае он был довольно недурным самокритиком и сжигал только плохие; затем, когда к нему пришел князь и попросил чего-то, он выбрал те, что получше, откуда-то поближе к пузу – вплоть до картины маньчжурской куклы с голубыми глазами. [...]

Надеюсь, когда в город вернется ваш соредактор, ему будет неплохо... Писать – игра чертовски забавная. Отказ помогает, потому что заставляет писать лучше; прием помогает, потому что писать не бросаешь. Через 11 дней мне будет 43 года. Кажется, нормально писать поэзию в 23, но когда ты все еще туда кидаешься в 43, неизбежно надо прикидывать, не свихнулось ли у тебя что-то в голове, но и это нормально – еще покурить, еще выпить, еще одна женщина у тебя в постели, а тротуары по-прежнему на месте, и черви, и мухи, и солнце; и только мужское это дело, если он лучше будет возиться со стишком, чем вкладывать капитал в недвижимость, и одиннадцать стихотворений – это хорошо, рад, что вы столько нашли. Занавески машут, как флаг над моей страной, а пиво – большое.

1964

[Джеку Конрою]

1 мая 1964 г.

Благодарю за «Обездоленного», которого я теперь прочел, и он лежит справа от меня, пока я это печатаю, а я слушаю 6-ю симфонию Ч [айковского] и пью маленькое пиво; устал; сегодня ставил на скакунов на короткие дистанции, и там победа быстрая, или тлен, или точи ножи, все это очень уныло – но книга, книга, да, она прошла хорошо, и заинтересовало меня то, что в ней показано, как она главным образом для таких людей, как я и вы, и для тех, кого мы знали и знаем; как оно было и, с моей точки зрения, есть до сих пор. Быть бедным – ад, это не секрет; ад – болеть, когда нет денег, голодать, когда нет денег; ад быть больным и голодным вечно, до последнего дня. Богом забытые работы, за которые большинство нас вынуждено держаться; богом забытые работы, за которыми большинство нас вынуждено *охотиться*, о них умолять; богом забытые работы, которые мы ненавидим всем нашим усталым духом и все равно должны ими заниматься... боже мой, алкоголики, поэты, самоубийцы, наркоманы, безумцы, которых все это изблевывает! Я не понимаю, чего ради мы должны жить таким кошмарным, безотрадным и очевидно низким манером в век, когда цивилизация всей своей энергией измыслила силу, достаточную для того, чтобы всех нас убить. Думаю, если возможно уничтожить всю жизнь, то, ей-богу, так же возможно дать жизни полностью жить. И я не шучу – *полностью*: я не о том, чтобы давать лишь нашим миллионерам и государственным мужам возможность сбежать на какую-то планету после того, как они всё проебут здесь... Но я отвлекаюсь от вашей книги, и сейчас самое время, чтобы ее переиздать, потому что здесь все те же адские работы, то же сбагривание стариков, то же ощущение трудности, от которого безработный становится общественно ненужным без всяких оправданий, без голоса, без единого шанса. Я знаю про почти-невозможность выживания. Я работал за \$17 в неделю

в Луизиане, и меня уволили, когда я попросил прибавки на 2 доллара в неделю. Это было в 1941-м. Я работал на бойнях, мыл посуду; работал на фабрике дневного света; развешивал афиши в нью-йоркских подземках, драил товарные вагоны и мыл пассажирские поезда в депо; был складским рабочим, экспедитором, почтальоном, бродягой, служителем автозаправки, отвечал за кокосы на фабрике тортиков, водил грузовики, был десятником на оптовом книжном складе, переносил бутылки крови и жал резиновые шланги в Красном Кресте; играл в кости, ставил на лошадей, был безумцем, дураком, богом, всех уже и не упомяну, но вот читал вашу книгу, и многое ко мне вернулось. Бывало, я записывался в железнодорожные бригады, чтобы ездить по стране. Однажды отправился так из Нью-Орлеана в Лос-Анджелес; в другой раз из Лос-Анджелеса в Сакраменто. Нам выдавали холодные банки еды, которые нам приходилось расколачивать о спинки сидений или другие места, потому что открывашек не было. Эти холодные поганые банки записывались нам на счет и вычитались у нас из первой полочки плюс, кажется, дорожные расходы. Не знаю – я всегда спрыгивал, не доехав. Другие тоже. Но те, кто оставался, как я понимаю, потом довольно долго работали за просто так. У кого-то всегда отыскивались бутылка и пара игральных костей, и мы вынимали свои талоны на еду, как-то раз, их принимали в одном месте на Главной улице Л.-А., и напивались там пивом вместе с 6 или 7 другими, жали друг другу руки и расставались. Тьфу, я тут не про вашу книжку говорю, но хочу, чтоб вы знали – я ее по большей части понял, и еще раз спасибо за то, что вы мне ее прислали. Я не утверждаю, что вы Джек Лондон; я говорю, что вы Джек Конрой, а это годится.

[Уолтеру Лоуэнфелсу]

1 мая 1964 г.

[...] Не знаю, кто такой Ювенал; когда я отложил «Ежедневный скаковой бюллетень», у меня глаза болели.

Я гляжу в окно на холм, срезанный наполовину, а в лёднике у меня 7 банок пива. Жизнь хороша.

Писать, как считает большинство писателей, – это как ебаться: только подумают, что у них неплохо получается, как вообще это делать перестают.

Надеюсь, выдержу еще несколько раундов, но я знаю, эта штука там поджидает, та штука, что дерет почти всех нас на части, не успеем мы умереть, тигр этот, эта блядь, эта черная ткань, этот ноготь на ноге.

господь будь с вами, и шпунт, и розовый змей, которого мальчишка запускает в 2 кварталах к Северу.

пойду я погуляю.

[Херолду Норзе]

12 мая 1964 г.

[...] Да, ты прав: неудача есть преимущество, и я имею в виду неудачу в том, что тебя не подымает на вершину телефонного столба, пока работаешь с девкой, или со стихом, или с восковой статуей Химмлера. Лучше всего оставаться непривязанным, работать дико и легко и терпеть неудачу, как только ни пожелаешь. Не успеешь прыгнуть с шестом на 17 футов, им тут же захочется 18, и в итоге ты в стараньях запросто можешь сломать ногу. На толпу всегда нужно плевать – это нечто безумное, как река, полная блевотины. Как только выкинешь толпу в мусорку, где ей самое место, у тебя возникает шанс на хорошую десяточку – и, может, срок скостят. Я не о Культуре Снобизма тут, какую практикует множество богачей, и факиров, и скручивателей веревок, и электриков, и спортивных обозревателей, потому что у них представление, будто у них есть ВЛАСТЬ. Все они зависят от толпы, как листва, что цепляется за ветку дерева. Я же про ту зависимость, при которой волен действовать с размахом, потому что тебе не *нужен* поцелуй в щечку от старушки по соседству, тебе не нужна похвалография или читать лекции перед Армянским обществом пасадинских писателей. Я в смысле – нахуй. Еще бумаги, еще пива, еще удачи, чтоб запора не было, время от времени жопки перехватишь и хорошей погоды, кому тут нужно больше? Квартплата, еще б. Ну вот, я уже больше не знаю, о чем говорю. Вот в чем опасность разговоров. Говоришь говоришь говоришь, сплошь ярость и нытье, и уже совсем

скоро не понимаешь, что говоришь... Я вот не понимаю... именно поэтому мне гораздо лучше, когда я преимущественно помалкиваю.

1965

Энтин опубликовал стихотворение Буковски в журнале «что/то» т. 2, № 1 (1966) с работой Энди Уорхола на обложке.

[Дейвиду Энтину]

16 января 1965 г.

благодарю за экземпляр «что/то» [т.] уно [номер] 2, какое-то время назад, и мне с ним было непросто, но по большей части непросто мне бывает со всем, так что ничего нового, и потому, скроив рот Бинга Кросби, я просматриваю ваш номер и нахожу в нем ту же беду, что и боль веков, – все чересчур прелестно и умно, чересчур разумно и *скучно*, трюкачество, обильное и чрезмерное применение курсива – я, к примеру, может, только один – был очень счастлив, ну, может, и не очень счастлив, но вздохнул свободнее, когда умер Фолкнер, не то чтоб места больше стало, но от Фолкнера у них бы не так голова кружилась, нам и без того пиздец, нас и в повседневной жизни достаточно ублажают и надувают. с перебором уж точно. и я имею тут в виду большие ЗАГЛАВНЫЕ буквы. вы, ребята, от-лично сводите с ума типографа. вручайте яйца. Я приложил рукоп, которую только что написал, покуда в своем обычном состоянии. чего хвалиться? Я пьян чаще некуда и готов употреблять любые виды прочей дряни, если ее не слишком трудно добывать, а также наказание не чрезмерное, если поймут, а то у меня на горбу и так довольно наказаний, вроде спериментальных змеев вот вам гав и как, ох ты ж. я о чем про рукоп, вотчѐ, верните пожалуйста, если вам не пойдет, копий я не держу, поскольку от копирки у меня краник вянет, и я мимо печатки промахиваюсь.

очень сильно ершусь я против использования поэтических символов для достижения поэтического состояния: а именно –

как таковых

зеленая звезда $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ //
опечатыки
/ Я молил в
двери впус/
тить

В смысле, хватить вола ебать и давай уже
начнем разговаривать.

*Фрэнклин опубликовал резкую рецензию на «Гонки с загнанными»
Буковски в «Обзрении Грэнд-Ронд» (1964).*

[Мелу Баффингтону]

Конец апреля 1965 г.

[...] Да, я слышал от [Р. Р.] Кускадена о штуке фреда фрэнклина, и Кускаден оказался изнасилованным, взбешенным, его будто пальцем выебли с таким методом критики ниже пояса (Кускаден выпустил «Гонки с загнанными»). В общем, судя по ему письму, штука Фрэнклина его по-настоящему допекла. Я не стал покупать экземпляр поглядеть на свои похороны и кончину. пусть собаки друг друга терзают. А мне есть чем заняться – спать, например, выколупывать засохшие сопли из ноздрей и, скажем, вот как сейчас – наблюдать за этой штукой, одетой в серые штаны, и у нее ножки паучьи, однако жопа с ванну, она проходит мимо этого окна, и мой вялый краник дергается, как пуза, полные червей в раю, поют из птичек в этот теплый лос-анджелесский вечер.

«Гонки с загнанными» случились некоторое время назад, однако я рад, что написал эту штуку. Интересно, что мальчик Фредди сделал бы с «Оно ловит сердце мое в ладони», или вот вчера я получил свой первый экземпляр «Распятия в омертвелой руке», один из 3100, новые стихи 1963–1965 гг. Фредди будет чем позавтракать.

Судя по всему, определенные люди считают, будто поэзия должна быть такой, а не сякой. Этим вот не светит ничего, кроме горестных лет

вперед. Будет появляться все больше и больше людей и ломать их представления. Это трудно, я знаю, как будто кто-то ебет твою жену, пока ты на работе, но жизнь, как говорится, продолжается.

[Стиву Ричмонду]

23 июля 1965 г.

[...] слушай, детка, Джефферса можно добыть почти в любой библиотеке... попробуй его «Такие советы давала ты мне» и «Чалого жеребца», «Тамар и другие стихи», особ. «Жеребца». Джефферс лучше в длинных поэмах. Кроме того, я думаю, Конраду Эйкену, несмотря на то что он более-менее уютного поэтического, почти что сучьего типа, и впрямь удалось некоторые рубежи перепахать. Главный его недостаток в том, что он слишком уж хорошо писал: шелково-хлопковые звуки чуть ли не скрывали собою смысл, а, разумеется, такова игра большинства говнопоэтов – выглядеть глубже, чем они есть, украдкой протаскивать меленькие восхитительно нежные дротики, а затем удаляться к надежным своим уютам. Жизнь становится все реальней – для меня, но поэзия почти вся, похоже, остается все той же. Могу взять любой номер «Поэзии» Чикаго, выпущенный за последние десять лет, и почувствовать, что меня обставили, а это и *впрямь* возможно, что с нами так и *поступили*. беда с нами в том, что мы ведемся на их кажущееся превосходство, а они, следовательно, и СТАНОВЯТСЯ превосходящими нас. однако в итоге они начинают писать в «Нью-Йоркер» и подыхать, а мы в итоге вкалываем в угольных шахтах и подыхаем, поэтому какая разница?

Уэббы выпустили две книги Миллера после того, как издали «Оно ловит сердце мое в ладони» и «Распятое в омертвелой руке» Буковски.

[Генри Миллеру]

16 августа 1965 г.

что ж, сегодня мой 45-й день рождения, и с таким вот скверным оправданием я позволяю себе снисходительность вам написать – хотя я чертовски хорошо воображаю, что сейчас вы получаете писем столько, что хватит свихнуться. Даже я их получаю, по большей части вполне бодренькие и даже наэлектризованные. Сплющиваются они, когда доходят до стихов. а стихи к ним прикладываются. слушая Шопена – ага, Христе, я в каких-то смыслах квадратный, и глуша пиво. Познакомился с вашим Доком Финком и его шуточками про евреев, а также с его какой-то открытой достоверностью и широтой. он принес пива вместе с женой, и я слушал и подарил ему коллаж или что-то такое, что сам сделал. он ваш поборник, но, бля, это не новость – мы многие таковы.

в общем, он мне подарил экземпляр Селина – как бишь называется? – «Путешествие на край ночи». теперь послушайте, от большинства писателей меня тошнит. их слова даже не касаются бумаги. тысячи миллионов писателей и их слов, а их слова даже бумаги не касаются. кроме Селина. мне от него стало стыдно, до чего ж я скверный писатель, так и захотелось все это бросить. проклятый мастер нашептывал мне в голову. боже, да я как будто снова маленький мальчик стал. слушал. между Селином и Достоевским нет ничего, если это не Генри Миллер. в общем, приуныв после того, как узнал, до чего я мал, я двинулся дальше и прочел книгу, и меня вели за руку, охотно. Селин был философ, знавший, что философия бесполезна; ебила, знавший, что ебаться – едва ль не надувательство; Селин был ангел, и он плевал в глаза ангелам и ходил по улице. Селин знал все; то есть знал он столько, сколько можно было знать, если у тебя всего две руки, две ноги, хуй, несколько лет жизни или меньше того, меньше, чем у каждого или любого. конечно же, хуй у него был. вы это знали. он не писал, как [Жан] Жене, который пишет очень, очень хорошо, который пишет слишком уж хорошо, который пишет так хорошо, что усыпляет. ах черт, и тем временем с верха домов стреляют, а как-то ночью на Голливуд-блвр. и Айвар сбросили коктейль Молотова, а это довольно близко, но не настолько, чтоб я поцеловал. Я работаю с негритосами, и большинство их меня любит, и потому, может, мне следует носить табличку на шее: «ЭЙ ЭЙ! НЕГРИТОСЫ МЕНЯ ЛЮБЯТ!!», только это все равно не подействует, потому что меня тогда пристрелит какая-нибудь белая сволочь. Боже, тут женщина кормит ребенка, и пока я вам пишу – перегибаюсь и говорю: «уууу, попробуй-ка банана, БАНАНА

ПОПРОБУЙ!!» – и это я-то, крутой малыш. ну, мы все падаем. они тут с начала этого письма, а у меня включено радио, и я курю дешевую сигару себе под пиво, поэтому если тут все так невнятно, то не потому, что под столом зеленая мартышка цапает меня за яйца.

пьян, немного, как обычно, да. Шопен заводится под пальцами... кого? Пеннарио, Рубенштейна? слух у меня не настолько хорош. Кости Шопена мертвы, а с крыш стреляют, и я сижу в грязной шумной кухне в аду и пишу Генри Миллеру. еще пиво, еще пиво. я исхожу из теории небросания: я не намерен бросать писать, если все ко мне вернется, я не собираюсь бросать, если даже мне пришлют хор блядей, который станет пинаться в мои глазные яблоки, и шестимальчуковый комплект педовых барабанчиков, что примутся отстукивать на бонгах боповый твист гаваны боже мой. Я начал, когда мне уже исполнилось 35, и если подожду еще 35, мало что от меня останется. стало быть, мне сегодня сорок пять, и я пишу Генри Миллеру. годится. Думаю, Док Финк думает, что я сноб. Я просто не верю, когда стучатся в дверь. Я всегда был одиночкой. Буду прям: мне не нравится большинство людей – они меня утомляют, путают, имают мне глазные яблоки, грабят меня, врут мне, ебут меня, дурачат меня, учат меня, оскорбляют меня, любят меня; но главным образом они говорят говорят ГОВОРЯТ, покуда я себя не чувствую кошкой, которую в жопу пежит слон. все это мне просто никуда не годится, очень уж много чего не годится мне. на фабриках и бойнях им очень уж некогда разговаривать, и за это я желаю поблагодарить доброту моего богатого начальства. даже когда мое начальство меня увольняет, я никогда не слышу их голосов, а я самый бросающий работу и увольняемый сукин сын, какой только вам встречался; но я никогда не слышу их голосов: там все тихо, нежно и учтиво, и я просто оттуда выхожу и даже не думаю о том, чтобы кого-нибудь подстрелить с крыши. Я думаю, что ж, неделю отосплюсь, а потом стану озираться. или поеду домой и собью какую-нибудь жопку, и буду пить всю ночь. такое вот. Я идеально вписываюсь в такие планы. Говно я. но все равно одиночка. и вот теперь у меня опубликовано несколько стихотворений, и мне стучатся в дверь, а я все равно их видеть не желаю. разница тут в том, что если ты одиночка и никто, ты псих; если ты одиночка и немного известен – тогда ты сноб. они всегда найдут подходящий колодец, куда тебя сунуть, куда б ты ни дергался. даже эта женщина тут, ей надо постоянно меня поправлять. что бы я

там, к черту, ни говорил. Просыпаюсь я утром и говорю: «Господи, ну и жара». а она в ответ: «Ты просто думаешь, будто жарко. а сейчас не так жарко, как вчера. А если б ты был в Африке...». такое вот.

где это я? еще пива? конечно.

ну вот теперь маленькой девочке хочется поработать на печатке. ладно, работай, детка, работай. Я поднимаю ее на руки. и тут она прудит: «Черт бы драл, говорю я ей, ты разве не видишь, что пишу Генри Миллеру? не видишь, что мой 45-й день рождения?»

в общем, я надеюсь, вы получили 3 «Рас [пять] я». Уэбб дал мне 16, чего не следовало делать, потому что я склонен раздавать их всем, кто рядом окажется, пока я пьяный плюс мои картины, но картины паршивые, думаю, я все пытаюсь, чтоб желтый цвет просвечивал сквозь другие краски, может, как мой хребет. ну да, желт и ссыклив; я трус, и я крут, и устал я, и пьян, и жизнь расплзается, как пердеж, а я сквозь нее прохожу. Все думаю про [Д. Г.] Лоренса, как он коров своих доил, все думаю про его Фриду, я рехнулся; все думаю про лица на фабриках, в тюрьмах, в больницах. Мне этих лиц не жаль; я просто не могу их различить. как ягоды, что колышутся на ветру, как птичий помет на статуе жизни. черт бы драл. еще пива. ну вот, заиграл Франк. берем то, что в руки идет. хотя С. в Р. неплоха. когда я был женат на той миллионерше, я валялся на коврикe пьяный и слушал Симфонию Ф. в Р., а она сидела и говорила: «Мне кажется, эта музыка – *уродство!*», поэтому я тут же и понял, что миллион сгинул. Мне с ней не удавалось. и в подтверждение этого, той ночью, когда я ее ебал в спальне, все полки рухнули, и цветочные горшки, и безделушки свалились мне на спину и задницу. В смысле, работаю-то я хорошо, но не *настолько* хорошо. она считала, что уродство и когда я рассмеялся тогда и присобачил все на место, и увидел, как миллион уходит, уходит... «Мне не нравится мужчина, который себя высмеивает, мне не нравится мужчина, который смеется над собой. Мне нравится мужчина, у которого есть гордость», – сказала мне она. ну, а я вынужден смеяться, потому что я смешон; я сделан лишь временно, я сру и подтираю себе жопу, во мне полно соплей и слизи, и жучков, и грандиозных блажей... но на самом деле я говняшка, говняшка и всё. потому вот сперва там был один гладкий с лиловой булавкой в галстукe и культурным голосом. но в итоге она закрутила с эскимосом, японским рыбаком и учителем,

Тами, по-моему, его звали, зовут. Тами и достался миллион; а мне палка. Наверно, Франка они не слушают.

в общем, надеюсь, книги вы получили. женщина сходила на рынок, принесла бумажную коробку, нарубила ее и сделала всю грязную работу. ваш друг сказал, что за книжки он заплатит, сказал: «Я просто спишу это на конторские расходы». Я предположил, что 5 дубов за книжку будет нормально, а поскольку авторские отчисления мои всего десять центов за экземпляр из проданных 3000 книг, я решил, что мне обломилось. Наверно, он тоже так подумал, поскольку прошло уже 2 недели, а я не слыхал. но тогда я ему сказал: «Если не хватает, не стоит». и, наверно, нам в итоге всем *не хватает*. всегда есть могила, и мы из нее не выкупимся, никогда. Я как-то раз жил в одном месте в Атланте за доллар 25 центов в неделю. Месяц я жил на 8 долларов. и писал поэзию на полях грязных газет, которые подбирал с пола. ни света, ни тепла. Не знаю, что стало с газетами. Я как бы помню, что стало со мной. это нормально, даже когда становится ненормальным. Сегодня я вам много затираю. вы еще читаете? Вот интересно. в общем, 45 – грустный возраст. 30 было хуже всего. Это я пережил. Не стану делать вид, что у меня кишка не тонка. Мне просто интересно.

ну а теперь будьте готовы к непристойности: конечно, мне бы хотелось с вами встретиться. Хотелось бы посмотреть, как вы сидите на стуле напротив меня. шансов немного. Я не очень разговорчив. Почти все время неважно себя чувствую. это будет как встреча б. г. с Богом. а потом вы пойдете отлить, и я скажу, глядите, Бог тоже ссыт. не стоит ненавидеть поклонение, Генри, вам такое светит. вы это уже пережили. Я вас зову «Генри», потому что сам получаю эти длинные бессвязные письма от одного студента, который упорно зовет меня «м-р Буковски» всю дорогу, куда у меня не возникает ощущение, что меня имеют, а ему на самом деле хочется ползать по моему расплюсченному трупу. в общем, если решите когда-нибудь приехать, эгей, мой № телефона HE-1-6385, а адрес на конверте. но я теперь я вам фуфло гоню. Не стоит и думать.

Селин, Селин, мой бог, Селин. что они вообще такого человека сотворили??

еще пива.

в общем, поскольку вы Селин, мне бы хотелось, чтоб вы знали, что б там ни было написано, я это пережил – скамейки в парках, фабрики,

тюрьмы; охранял дверь борделя в Форт-Уорте, работал на фабрике собачьих галет, сидел в одной камере с Врагом Общества № 1 (вот повезло-то!); грабил пьяных и сам грабился пьяным; больницы с раскроенным брюхом; жила со всякой блядью и чокнутой сукой от Побережья до Побережья; все ужасные работы, все ужасные женщины, всё, и только малая часть всего этого вылезает у меня из поэзии, потому что я пока недостаточно мужик и, возможно, никогда им не стану; наброс в «Ля Обозрении Грэнд-Ронд», дескать, я груб, у меня правописание слабое и всякие прочие удары. Я не стал покупать экземпляр, у меня кишка тонка, но кто-то мне рассказывал. они там 5 с половиной страниц меня драли. может, я того и гляди дойду дотуда?? но большинство их не понимает вот чего, хоть у меня и правописание слабое, я многое пишу пьяным, и чертовы пальцы соскальзывают, а наутро меня слишком тошнит, чтоб перечитывать, просто перескакиваю, отправить, как я и с этим вот письмом поступлю. утру крепости не хватит, чтобы ночь выстоять.

но продолжать я не стану, наверно, просто остановлюсь; определенно и наверняка я, возм., сказал достаточно. после дикого начала уже 8 лет отмечаюсь на той же чудовищной работе. но как-то на днях продал картину за \$20. не глядя взяли. кто-то пульнул в меня двадцаткой из маленького городка во Флориде и сказал: «отправьте мне одну свою картину». стало быть я, может, еще не сдох. вы-то никогда не сдохнете.

[Генри Миллеру]

Конец августа 1965 г.

нет, я не из тех, кто ходит в гости, и надеюсь, вы не думаете, будто я намерен на вас кинуться. Я был пьян, когда писал письмо, если это может служить оправданием. что ж до пьянства, если оно марает или свинчивает башку с моего творчества, это очень скверно. Мне больше нужно жить от минуты к минуте, чем быть каким-либо творческим художником; я вот о чем, мне нужно чем-то себя подхлестывать, а то я запаздываю, я трус, в двери проходить не хочу.

Книги [«Распятие»] оплачены, и как раз вовремя (для меня). пришлось полностью тормоза менять на моем старом «плимуте». ездил без тормозов. женщина вопит из-за цены. думает, я дурак. она заходит поссать и оставляет дверь открытой, и я гляжу на ее крупные, безжизненные мертвые ноги. потом она включает радио. радио всегда включено. Я хожу с ушными затычками в голове, задаваясь вопросом, не выйти ли за бутылкой вина. как кто угодно – счет за газ оплачивать, счет за телефон оплачивать, утесы валятся мне на голову... нет, нет, я редко работаю с прозой, главным образом потому, что, если ее отвергнут, я покойник. столько энергии впустую. у меня кишка тонка писать роман из страха, что я положу на него полжизни, а он потом будет лежать без ножек в ящике. Я как-то сказал одному журналу, что напишу роман за аванс в \$500, где угодно, когда угодно. на предложение никто не ответил и не ответят. если создается впечатление, что я сбрендил на деньгах, по-моему, это не так. тут все дело в энергии – утекает. Я могу играть со стихами, и меня при этом едва ли ранит, я крепость все равно удержу, если вы меня понимаете. теперь вот детка меня скребет – 11 месяцев, она печатать хочет. шанс ей выпадет, сучке.

попробую поискать [Жана] Жионо или мне женщина найдет. однако не вижу никого, кто бы держался близко к Селину. у этого человека вся голова была в золотых винтиках. бя, бя, у меня болят руки и спина! Завтра на поезде еду в Дель-Мар. у женщин этих я болтаюсь на веревке в 2 маленьких комнатках, а должен на миг стряхнуть с себя все это: небо, дорога, конская жопа, мертвые деревья, море, новые ноги скитаний – что угодно, что угодно... рисунки, что я вам послал, ужасны. скверный трюк. Делаю кое-кому книгу рисунков, и эти 2 не сдавал. редактор хочет много рисунков и несколько стихотворений – поэтому будет мило: немного туши и много пива, и я в деле.



Возраст Христе



Об отказе из-за нехватки денег

Оба рисунка, приведенные выше, не вошли в неоконченную книгу рисунков и стихов «Атомные каракули маниакального века» (1966) и были посланы Миллеру.

В 1965–1966 годах Буковски появился в нескольких номерах «Антракта», выходявшего под редакцией Коула.

[Джинну Коулу]

Декабрь 1965 г.

Спасибо, конечно, за «Антракт». Я прочел пока 2 экземпляра; хорошие статьи, но вашим поэтическим вставкам недостает бодрьяка. Мне все равно нервно читать ваши статьи по драматургии, «у пьесы должна быть предпосылка» и так далее. Боюсь, у наших драматургов проблемы те же, что и у всех остальных, – то есть что их обучают, им

ГОВОРЯТ, как должно что-то делать. От этого оно может хорошо проглатываться, может помогать практикующим; может помочь скверным драматургам стать почти что хорошими, но «как это делать» никогда не создаст Искусства, никогда не растрясет старых мехов, никогда нас отсюда не выведет. Если бы мне выпало писать пьесу, я бы писал ее, как мне, к черту, заблагорассудится, и она б вышла хорошо. Я это не к тому, что не должно быть статей о драматургии или драматургических мастерских. Я б не стал ничего объявлять вне закона. Пусть люди делают все, что им угодно. И удачи им. А если они способны творить Искусство и такими методами создавать долговечный театр, пусть меня назовут лжецом – я буду крайне счастлив.

1966

[Джону Беннетту]

Конец марта 1966 г.

[...] иногда я напиваюсь, и в вены мне украдкой проскальзывает какой-то редактор, в продолговатую провисающую прядь мозга, и тогда даже мне приходят в голову замыслы журналов, а именно:
(и серьезно)!

1: «Современное обозрение литературы, искусства и музыки»
или иначе:

«Обозрение современных литературы, искусства и музыки».

никакой поэзии, никаких оригинальных современных работ – только статьи, живые и дерзкие об этой области, и по возможности репродукции произведений Искусства. конечно, некоторые статьи я писал бы сам, чтоб у журнала наверняка были жизнь и подача. Я правда считаю, что такой журнал необходим, но сомневаюсь, что он когда-либо появится.

2: «Туалетно-бумажное обозрение»

который будет печататься мной на машинке на туалетной бумаге (наш девиз тут: «Не нас – рать!»), что-то под копирку при печати, а потом туалетная бумага будет наклеиваться на обычную, а на обложку каждого отправляемого подписчикам журнала – оригинальный рисунок.

3:

(без названия) но писать печатными буквами от руки тушью каждый журнал с масляными пастелями (все разные) в каждом журнале, а также на обложке каждого журнала оригинальное произведение. Я выучился писать печатными буквами очень быстро, когда голодал и у меня не было печатки, и рассылал свою писанину по чернильным волнам. Писать печатными буквами я могу быстрее, чем обычным почерком, ну или раньше мог. [...]



Этот рисунок, предназначенный для брошенных «Атомных каракуль маниакального века», в итоге был опубликован одним литературным журналом в 1971 г.

какая-то мартышка в Арканзо умыкнула около 100 моих рисунков тушью, которые он обещал выпустить книжкой. разрекламировал книжку и собрал \$\$\$. теперь не отвечает на мои запросы, моя небольшая аудитория читателей станет думать, что я ебаный жулик. дело не в том, что я как-то особенно против, это все долгие пьяные ночи, сижу ночь напролет до восхода, сам себе смеюсь, пью, яйца голые на кухне, мажу всего себя тушью, и по стенам, чувствую себя при этом чуть ли не живым, понимаешь, а потом этот ебучка отбирает все эти ночи, все те рисунки – хоронит их, рвет. хорошо бы приколотить когонибудь из этих говнюков в дверном проеме гвоздями, когда они выйдут

на звонок, но они, должно быть, чертовски догадливы, что я не могу по всей стране за ними гоняться. проще другую сотню рисунков сделать. ну вот, еще одна печальная история для твоей папки. литературный тип – последний, кому можно доверять, не забывай об этом. муравьи, пигмеи, суходроты, хуесосы, соплежуйные маменькины сынки, вся эта братия – почти, почти. ты не забывай, мне в августе будет 46, и хоть я вошел в игру только в 35, за одиннадцать лет повидал довольно, чтобы приберечь им всем напалмовый чмок. Почти.

Ферлингетти опубликовал в 1965 г. «Антологию Арто», которую Буковски в начале 1966 г. отрецензировал в «Свободной прессе Лос-Анджелеса».

[Лоренсу Ферлингетти]

19 июня 1966 г.

[...] ну, слушай, я не хотел уходить по касательной. насчет Арто, я обнаружил, что у него многие мысли крайне схожи с моими, на самом деле, у меня было такое ощущение, пока читал, что многие строки написал я сам – херня, конечно, но он один из немногих писателей, от которых я чувствую, что вообще не могу писать. такое чувство у меня бывает нечасто.

не беспокойся из-за французских рецензий, те сволочи машинально считают нас всех квадратными – таковы знаки отличия, которые они носят уже несколько веков, это охота на ведьм и разводка пиздой. это лучшая книга, твоя лучшая, это кувалда с ногами и глазами.

меж тем сгребаю в ладонь свои трепаные яйца и ёжусь на солнышке.

Жан и Верил Розенбом публиковали поэзию Буковски в нескольких номерах «Парии» в 1966–1968 гг.

[Джону и Лу Узбам]

11 июля 1966 г.

да, Розенбом получил номер «Оле» со стихотворением о себе самом. он мне написал. У меня тут где-то есть его письмо.

Хайль, Хэнк! Король пивных банок,

Я на самом деле с нетерпением ждал возможности оскорбиться твоим стихотворением в «Оле» в ответ на литературную перчатку, брошенную мною, написано было превосходно, в «Парии» № 1. Тем самым я был разочарован, когда услышал от тебя лишь «ай». Оно было таким хилым, что, может, даже и не «ай», а кто-то перднул. Меня повергло в скуку не столько твое поверхностное владенье ситуациями, сколько то, что ты силу удара потерял. вообще-то ты не хуже моего сознаешь, что не написал ни одного действенного стиха после «Оно ловит...», невзирая на организованную рекламную шумиху последующих двух! как два твоих пылких почитателя, и Верил, и я беспокоимся за твой художественный спад на протяжении всех этих лет, несмотря на твою забавную популярность. Я думаю, ты выше всей этой колготы. Ты в курсе, что твоя страховка на почтамте покрывает 50 процентов стоимости психотерапии? Хотелось бы, чтоб ты как-то себя раскупорил, потому что нам для будущих номеров «Парии» нужно и мы хотим от тебя чего-то крепкого.

Жан

на розовой бумаге с шапкой «Парии». в последнем номере их «Парии» они тиснули мое стихотворение с 3, а может, и всего с 2 неправильно написанными словами, это не мое неправильное написание, а «е» там, где должны быть «о», и так далее. другие стихи (других людей) без ошибок. нет нужды рубиться с бесконечностями, но это просто еще один случай, когда стычка с Жаном оставляет во мне чувство отвращения. а для того, кого не оскорбило, а лишь разочаровало стихотворение, он выступает в этом письме с довольно желтыми клыками. Мне не нужно быть психиатром, чтобы сообразить, что он дает сдачи. но хватит уже бодаться с этим индюком. кстати,

существует с полдюжины разных почтовых страховок, то есть страховок почтамта для своих работников. все их ставки варьируются, даже включая стоимость «психотерапии». добрый доктор просто обожает поминать почтамт – он знает, что это меня убивает, а ему, похоже, нравится. кроме того, я не понимаю фразу «Я думаю, ты выше всей этой колготы». она, похоже, всунута в письмо между 2 строками, которые к ней никакого отношения не имеют. я тут *один*, кто спятил? эм, эм, эмм. [...]

мысль о возможной 3-й книжке Буковски в «Луджоне» в 67-м или начале 68-го еще как не дает мне пасть замертво на улице. рисковая возможность того, что это случится, заставляет меня сдирать обои со стен и ложиться в постель с женщинами, каких я не хочу, и слоняться под этим ебаным тотализаторным солнцем с дырами в душе и карманах. эмм. в общем, хорошо получить такой знак пораньше. Могу пособирать что-то, перепечатать. приняли в 2 дюжины лит-журнальчиков, а в почте сегодня письма от двух европейских журналов, которым хочется посмотреть мою писанину, а пальцам моим хорошо на бумаге, на клавишах. Я не пишу то же самое или так же, как это было в «Оно ловит». это кого-то из них беспокоит, но для меня просто нормально. что бы я ни писал, хорошее или плохое, должен быть я, сегодня, какое оно есть, какой я есть. стихи о пьяной комнате и бляди были хороши в свое время. не могу я все продолжать и продолжать с этим. американцам всегда подавай ОБРАЗ, за который цепляться, на что налепить ярлык, посадить в клетку. этого я им дать не могу. как ни верти, пусть получают этого старика в дырявых носках, в 4 пополудни, протирающего глаза и грезящего об Андернахе, либо не получают ничего. последним стихотворением дня, что я напишу, будет то, которое мне нужно тогда написать. Я даю себе такую свободу. [...]

нет, [Джон] Мартин не склонен читать лекции. Я стараюсь больше вытягивать из него про него самого и про то, чем он занимается. типограф у него – настоящий квадрат. попробуй как-нибудь разговорить Мартина про этого типографа. у меня есть одно стихотворение со словом «ебать». он набрал все, кроме этого слова. сказал, что не может. никогда не мог. предложил Мартину заказать маленький резиновый штамп с этим словом и впечатывать его вручную. боже мой, стихотворение так никуда и не пошло. не смог он. стихи мои называет

«по-настоящему садистскими». боже всемогучий, что за мир дрянных полулюдей.

[Херолду Норзе]

2 августа 1966 г.

[...] Крили, да, трудно лишиться радости жизни, но поверь, он впадает в отчаяние – наконец написал стих о том, что смотрел, как какая-то женщина писает в раковину, она не ссала, она писала и заливалась румянцем, писая после того, как он ее выеб – только Крили не ебется, он занимается любовью. но стихотворение не удалось, потому что ясно же – он так пытался подать крученный и стать одним из ребят. так же плохо, как я бы пытался быть Крили, скажем:

Я, качал ее на качелях
в парке, дочку мою, небо там было,
дочка моя на качелях, дело было в
парке, а однажды, подумал я, когда она встретилась с небом:
мне перепадет первый
случай.

[Майклу Форресту]

Конец 1966 г.

[...] Я вырезаю в камне не потому, что это надолго, а потому что он есть и не пререкается со мной, как жена. Я вырезаю в камне, потому что 2 или 3 хороших человека в будущем возьмут меня в руки и засмеются. Этого хватит – мои столетья мне такого не обеспечили.

Точно думаю, что за (или невзирая на) мои 46 лет в аду, что я сохранил великолепные цыпадрищавые достославные тараканьи слюнки размышлений + надтреснутый смех под (возможно) ногтем у себя на большом пальце левой ноги, что удерживает меня на полпути промеж самоубийством и стремленьем.

Это хороший компромисс. Само собой, компромиссы не напористы, да и публично или художественно не напыщенны (успешные) или вызывают к себе любовь. Большинство стихов у меня про то, что я просто хожу по комнате и радуюсь/грущу (тут нет подходящих слов), что комната + я здесь вместе в данный миг. Я прочел, кажется, все книги, но все равно хотелось бы, чтобы кто-то где-то сказал это *мне*. Н[ицше], Шопе[нхауэр], претенцивный потворник толп Сантаяна. Кто угодно.

1967

[Дэрреллу Керру]

29 апреля 1967 г.

[...] То есть для меня хорошая движуха – в Творчестве, это Тварь с Большой Буквы. либо еби ее правь ее пиши ее рисуй ее. разговоры 2 парней на меня особо не действуют.

писать стих – штука исключительная.

я вот не сноб, считающий, будто мое говно не смердит, но между тем, что допиваюсь до смерти и вкалываю на работе, которая меня всего сжевывает, в оставшееся время, в те один или 2 часа, мне нравится работать с ним по-своему.

поэтому я не читаю на поэтических читках, не хожу на Любовные Сходняки, Отпадные Тусняки, тому подобное.

Я всегда был по сути «одиночкой». такие люди *есть*, либо по природе, либо по психозу, либо по чему еще, кто мучается в толпе, а когда сами по себе, им лучше. Нынче ТЫ ОБЯЗАН ЛЮБИТЬ – вполне тема, а я думаю, что, когда любовь становится командой, ненависть становится удовольствием, я вот что тебе пытаюсь объяснить – уж лучше я б зерно трескал, и визит твой ничего не решит, особенно с кувшином красноглазки, когда у меня желудка почти не осталось. мне почти 47, пью я 30 лет, и осталось мне немного, по больницам туда-сюда. Я сейчас не на жалость тебе давлю. просто *некоторые* вещи, что нынче видят некоторые молодые люди, нынче понимают (и куча того, чего они не понимают), я про них соображал еще в 1939-м, когда Война была Хорошо, Левое было Прекрасно и так далее. когда Хемингуэй неплохо выглядел, и примерно тогда же парни иногда сбегали, чтобы вступить в Бригаду Авраама Линкольна. молодежь всегда возбуждена; я таким не был. рамка у картинки постоянно меняется, и если гоняешься за каждым прелестным на вид восходом, тебя засосет во множество зыбучих песков и к мертвым флагам. человек, если может, пусть более-менее сам лепит собственные представления; а если

верещать обезьяной в парке или впотьмах, этого не добьешься. Вообще-то мало чем этого добьешься. Я не намерен этого делать пишущей машинкой, а ты этого не сделаешь книжным магазином. если мир вообще меняется, это будет из-за того, что бедные чересчур много ебутся и чересчур много ебанных бедных, а немногие богатые мальчонки у власти будут бояться, потому что, если собрать достаточно бедных и они при этом достаточно бедны, все пропагандистские газеты на свете не смогут им рассказать, до чего им повезло, что бедность свята, а голодать – полезно для души. если этим людям дать голосовать, все неизбежно изменится, а если не давать им голосовать, бунты станут все больше красней жарче адовых. Политики у меня никакой, но понять это достаточно просто. но и мальчишки у власти умные, они попробуют давать им по чуть-чуть, *милостыни* столько, чтоб их сдерживать. да и бомба потом может много чего решить. избранным нужно будет только дожидаться, покуда в космосе не окажется места, где спрятаться, и пусть оно все провалится. в нужных местах. они вернутся после того, как санитарные техники отдрают кости дочиста. я же тем временем сижу за своей пишущей машинкой, жду. [...]

слишком выдвигаться из стихотворной формы опасно. стихо-форма (бля, выглянув сейчас в окно, я только что увидел, как что-то выбралось из такси ой ой ой ой в желтой высокой юбчонке нейлоновые ноги боже она покачивалась на солнышке и грязный старик прижался к окну и ронял кровавые слезы) удерживает в чистоте на зуб, делает шелковым на ощупь, нейлон для порванной гитарной души, о о ага. но время от времени я выскальзываю из стихо-формы и распускаю язык. Я же человек, «слишком уж человечен», как некогда сказал какой-то пыльноватый старый философ. пыльноватый, стал-быватый. ебутся даже черви. [...]

Я думал, что выиграл Пулитцеровскую премию. Уэбб мне в прошлом году сказал, что на него выходили люди Пулитцера, что «Распятие» выдвинули на Пулитцера. ну, тут либо Уэбб был пьян, либо ее оторвал кто-то другой. вероятно, дали какому-нибудь жирному преподу из колледжа, который писал рондо в рифму в попытке доказать, будто у него есть душа. слушай, мне это надо где-то прекратить. ты подумаешь, я напился; даже пива не выпивал 2 дня. ладно. темнеет. Лос-Анджелес – это Крест, и мы все на нем висим,

глупые Христосики. 6 вечера. По радио китайская музыка. трезв, трезв, трезв.

[Роналду Силлимену]

Март 1967 г.

[...] Я читал критиков – Уинтерза, Элиота, Тейта, тому подобное, Новую Критику, Новую Новую Критику, требования Шапиро, всю толпу из «Кеньона», толпу из «Сеуани», я полжизни потратил на чтение критиков, и хотя содержание у них считал претенциозным, стиль бывал несколько усладителен, и теперь с твоей стороны очень мило сообщать мне, что лучшие из них пытаются вернуть в стих «человеческое достоинство, самоуважение, ту гордость, какую чувствуешь в диком, свободном жеребце». на мое ухо это звучит таким же фуфлом, как резиновая конская жопа, но раз такова твоя догадка и/или твое мировоззрение – оно твое, и прекрасно.

«ЕСЛИ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – УРОДСТВО, НЕСЕТ СМЕРТЬ, ТО НЕ НАШ ЛИ ДОЛГ БЫТЬ ПРЕКРАСНЫМИ?» – вопишь ты мне заглавными буквами. Роналд, «долг» – это грязное слово, а «прекрасный» – заезженное. хочешь сшибить кого-то с пыльных ножек – просто потребуй, чтоб он был «прекрасен».

[Джону Беннетту]

Сентябрь 1967 г.

мир маленьких журналов для меня – не очень-то здоровое животное. есть 3 или 4 хороших, а после них – ничего. как-то на днях один журнальчик, «Помол», поменял одно слово у меня в стихотворении – «chess» на «chase», что с оставшимися словесами выставило меня каким-то пидарасом. пусть у них будет свой клуб, все по-ихнему, но зачем туда тащить меня-то? так или иначе огорчившись, я им про это написал. а есть и десятки других журналов, что принимали

у меня стихи, только номер так и не выпускали и НИКОГДА не возвращали работы. копии я не храню. да и не верю, что моя работа так уж драгоценна, но это все равно отвратительно, как эти мальчики из маленьких журналов со своими высокими идеалами оказываются мудачьем, пидарами, факирами, уебками, садистами и так далее и тому подобное. беда в том, что большинство этих мальчиков очень молоды. маленький журнал им кажется эдакой драматичной штукой, Искусство, снесем старые барьеры, ура храбрости, тому подобное. но для начала большинство их – плохие редакторы, денег нет, кроме тех, что ожидаются из всего этого расклада; работать не любят и скверные писатели, в большинстве своем; а потом просто устают, говорят, ну его нахуй. Я у этих говнюков потерял книжку стихов и рисунков, а также 300 стихотворений. иногда я думаю, что уж лучше иметь дело с телефонной ко., газовой ко., полицией.

[Роберту Хеду]

18 октября 1967 г.

[...] про антивоенные стихи, я против войны был давным-давно, еще в то время, когда это не еще не было так популярно или распространено. сугубое одиночество, Вторая мировая война. похоже, с интеллектуальной и художественной точки зрения, есть хорошие войны и плохие. для меня же все войны плохи. я по-прежнему против войны и против чертовой кучи всего другого, но до сих пор помню другую ситуацию, и как поэты и интеллектуалы меняются, подобно временам года, и все доверие и вся позиция, что есть у меня, содержатся главным образом во мне самом, в том, что от меня осталось, и когда я теперь вижу длинные очереди протестующих, я знаю, что все их мужество – лишь некая полупопулярная храбрость, они делают то, что должно, в подходящей компании, теперь это так легко. где же, к черту, они были, когда *меня* швыряли в камеру, Вторая мировая? тогда-то все было очень-очень тихо. Не доверяю я человечьему зверю, Хед, и толпы мне не нравятся. я пью себе пиво, бью по печатке и жду.

[Херолду Норзе]

21 октября 1967 г.

[...] p. s. – пиздец письмо, в общем, про Гинзбёрга, очевидно, что он принял у толпы мантию (давно) и это скверно, потому что, как только толпа вручает тебе мантию и ты ее принимаешь, они начинают на тебя срать. однако Аллен этого не знает. он думает, что ему хватит чуйки через это переползти. не так. борода у него торчит и скорее спасает его, но нельзя писать поэзию с бородой. я теперь едва могу его читать. его яческие штуки с самопровозглашенным БОГОМ и ВОЖДЕМ попросту скучны и одержимы. ну и он вынужден цепляться за Лири и Боба Дилана, которые попадают в заголовки. все это плохие шаги. все это очевидно, но никто ничего про это не говорит, главным образом потому, что они немного боятся Аллена, как немного боятся (больше боятся) Крили. эта тусовка вся впустую, немного напоминает фильм ужасов – на самом деле хочется смеяться, но в воздухе смердит. по-моему, вся эта искореженная зверская дрянь как-то соотносится с С. Ш. Америки, хоть и не уверен. господа, способны ли европейцы так все проебывать? полагаю, способны, но не с такой последовательностью и точностью.

[Херолду Норзе]

3 ноября 1967 г.

[...] из-за всего этого, «Вечнозеленого [обозрения]» и «Пингвина», и это хорошо, мы можем выдержать порцию света, лишь бы только писакам и ослам не досталась *вся* балеха, нам по-прежнему следует помнить, откуда мы взялись и что это все такое. голова должна оставаться там, где она есть. боец хорош только до своего *следующего* боя; *последний* не поможет ему продержаться и первого раунда. писать – это вроде оставаться в живых, пицца, каша, выпивка, жаркая поебка. эта печатка и очищает, и перемальвает, и выравнивает, и молится. никто никогда не попросит меня выдвигаться в Президенты на

платформе «Дурь – в каждый Котелок». мне хватило скверных работ. а если им подавай божественности, пускай поищут у себя в церкви на углу. мне же нужны только ленты для пишущей машинки, бумага, что-нибудь поесть и где пожить – предпочтительно с окном на улицу и сральником не в общем коридоре, с квартирной хозяйкой, у которой хорошие ноги, и она шелестит бедрами и задом, когда трется о тебя время от времени. О меня, время от времени.

[Херолду Норзе]

1 декабря 1967 г.

получил сегодня «Вечнозеленое»-50 с моим коротким стихотворением в нем, сильно под конец, там все усеяно знаменитыми, вот они: Теннесси Уильямс, Джон Речи, ЛеРой Джоунз, Карл Шапиро, Уильям Истлейк... но написано все плохо, кроме меня и очень хорошей пьесы Хиткоута Уильямса «Местный стигматик», которая впервые прошла в Эдинбёро в театре «Траверз»... чем бы оно ни было. так или иначе, написано хорошо. А вот у Речи материал был очень плох, и у Уильямса с Шапиро почти так же плохи. но все это я понял давным-давно – ныне знаменитые некогда писали хорошо, а теперь больше хорошо не пишут, а расхаживают, пристегнувшись к своим именам, к своим ярлыкам, и публика с журналами жрут за ними говно. боги благословили меня, не сделав меня знаменитым: я по-прежнему палю словом из орудия – а это гораздо лучше капли с вялого хуя. но из-за всего этого попасть в «Вечнозеленое» было мне полезно, поскольку научило меня, что всё есть ничто, а ничто есть всё, и тебе все равно приходится завязывать себе шнурки самому, если у тебя есть ботинки, и творить собственное волшебство, если есть что творить. Меня больше беспокоит стихотворение про бой быков, что подлиннее, которое я им сделал, и надеюсь, оно у меня в уме выйдет нормально, когда выйдет. штука с «Вечнозеленым» в том, что можешь растрясти в ком-то жизнь, до кого раньше мог и не достать, но это касательная, главное, конечно, в том, чтобы мясо посолить и поперчить, записать, а где появится – не важно. есть какие-то основные истины, иногда, по-моему, а мы по большей части о них забываем. или же они в нас притупляются, или мы

из них продаемся. я, вероятно, пишу всю эту срань про «Вечнозеленое» потому, что меня мучает совесть, и я боюсь, что как хороший писатель оскальзываюсь ради того, чтобы попасть к ним на глянцевики. с другой стороны, есть и радость ребенка на Рождество, когда открываешь чулок, набитый добром. это славно. в конце концов, когда стихотворение завершено, от тебя не остается ничего, кроме торговца куриным пометом, а кто ж не хочет появиться в «Вечнозеленом», а не в «Эпосе, ежеквартальнике стиха»? быть может, поистине хорошие люди еще не прибыли. быть может, мы по-прежнему в стадии кокона, а то и хуже, и нас выдерут из этих ебанных коконов еще до срока. ах. эмм. у меня определенно все слабости шайки необученных матросов, только сошедших на берег после 90 дней в открытом море, без сна, и круглоглазых женщин там не так уж много. в общем, я не делаю вид, будто я какой-то Христосик, да и так или иначе Христосиком быть не стоит и кошачьей какашки, тебе не кажется? Мне кажется.

1968

[Джеку Мишелину]

2 января 1968 г.

[...] Да, ты прав – стихо-мир как бы такой шелковистый, и в нем господствует мягкое фуфло, «Поэзия» (Чикаго), которая, давным-давно, была хорошим журналом, теперь пастбище и брех-машина для обрюзгших липовых поэтов, трюкачей, но она за нами наблюдает – они приходят и звонят в дверь, они хотят посмотреть на тварь и увидеть, как это делается. Но ничего не видят – красноглазого пердуна на тахте с бодуна, который разговаривает, как газетчик на углу. [...]

Слава + бессмертие – игры для других. Если нас не узнают, когда мы идем по улице, нам повезло. Лишь бы работала печатка, когда мы за нее в следующий раз сядем.

Моей маленькой девочке я нравлюсь, и этого уже довольно.

[Чарльзу Поттсу]

26 января 1968 г.

[...] Мне нравится ДЕЙСТВИЕ. В смысле сам знаешь, до чего медленно шевелятся некоторые журналы, в этом есть что-то омертвляющее – зеваешь, зеваешь, ох матушки, зачем все это? сам знаешь. похоже, многие из них ждут пожертвований или чудес. ни то ни другое не поступает; с таким же успехом могли бы подготовиться и проталкиваться сами. колонку в неделю для «Открытого города» я пишу по одной-единственной причине – покамест. ДЕЙСТВИЕ, оно выпрыгивает из машинки на страницу. отдаю ее [Джону] Брайену, БАЦ, она ВЗРЫВАЕТСЯ, тут не надо никакой журналистики, потому что оно мгновенно, плохо, а искусство и хорошее искусство создаются

одновременно. То есть элемент времени к этому никакого отношения не имеет. не объясняю я толком, надо успеть к почтовому ящику к 5 часам.

В 1967 году Буковски безуспешно подавал заявку на стипендию Национального фонда искусств и гуманитарных наук.

[Херолду Норзе]

20 апреля 1968 г.

[...] написал Кэролин Кайзер, чтобы выслала еще один бланк заявки, устало попробовать еще раз податься на грант. я слышал о некоторых, кому гранты давали, и знаю, что это не очень много – в смысле если сопоставлять с талантом. кроме того, кому-то гранты предлагали, а они на них даже не подавали, и кое-кто из них от грантов отказался. Наверно, они не так голодают и близки к безумию, как я. к тому концу близки. ну, от дорогуши Кэролин ничего, но я полагаю, на это нужно время. однако в прошлый раз я узнал так быстро. и славное длинное письмо, что случилось? остается лишь гадать о том, что творится под землей и над землей, о чем мы ничего не знаем. кажется, у меня на спине мелом поставлен Х. я готов к мяснику. на днях рыскало Ф. Б. Р., расспрашивали обо мне квартирного хозяина и соседей. мне хозяин рассказал. поскольку я бухаю с хозяином и его женой, ко мне идет трубопровод. [Даглас] Блазек говорил мне, что год или 2 назад Ф. Б. Р. приходило и к нему и расспрашивало обо мне. не знаешь, Национальный фонд содержится првт-м? может, *поэтому* Кэролин молчит, а может, от меня и тебе пиздец. по-моему, я тебе рассказывал, как меня одна шишка опрашивала в длинной темной комнате с лампой на конце большого стола. как у Кафки-наци. Мне сказали, что им не нравится моя колонка «Заметки старого козла». Я спросил: «следует ли нам считать, что почтовые официальные лица – новые литературные критики?» «э-э, нет, мы не это имели в виду». черта с два. потом он мне сказал: «если б вы держались поэзии и поэтических книжек, с вами бы все было в порядке». «но вот это...» – и он постучал по газете и моей колонке, а остального не договорил. их само письмо просто злит, у меня же вообще там почти без непристойностей. они не знают, как меня

подцепить. и мы продолжаем здороваться за руку. но они ждут одного моего неверного шага, и вот тут-то вмешаются и свернут мне шею. меж тем надеются, что меня из-за всего этого одолеет паранойя, и я начну кидаться на тени и смывать свои значки удачи в сральник. что я вполне запросто, к черту, мог бы. а пока я тем немногим, кого знаю, говорю, что могут держаться от меня подальше, если хотят. и это поразительно. сказал уже нескольким, и больше от них ни звука. почти все, как я выяснил, то или иное говно, глубоко внутри. я – обсифаченная рыжая, которую высаживают из машины на углу.

[д. а. леви]

16 июля 1968 г.

[...] получ. сегодня пачку «Буддистского [макулатурное отправление третьего класса] оракула». много спасибо, разумеется. у бумаги свой причудливый аромат. уверен, ты обнаружил то же, что и я, – игра в поэзию ничего так себе в том виде, как мы ее работаем, но столько помех, больше половины того, что принимают, не печатается и просто забывается мелкими зевающими людишками в Пеории-Хайтс... а пока эти газеты сообщают МГНОВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, которое можно ВИДЕТЬ ОЩУЩАТЬ... БРОСАТЬСЯ В НЕГО ЕЩЕ И ЕЩЕ... кому, к черту, хочется гнить и ждать??? мы работаем всеми руками... все засчитывается.

1969

Домбровски опубликовал работу Хью Фокса «Чарльз Буковски. Критическое и библиографическое исследование» в 1969 г. Это был первый объемный критический обзор произведений Буковски.

[Джерарду Домбровски]

3 января 1969 г.

[...] Про книгу Фокса обо мне – ладно, я пил несколько вечеров с этим человеком, и если вам надо вонючих сплетен – не мой он тип. Он Университетский и в ловушке между стиснутыми яйцами его учений. Быть может, презрение мое от того, что в те вечера, когда мы с ним бухали, говорил только он, а это во многом было паршивым капризным мягким пресыщенным напыщенным продолженьем осторожных возмущений и третирований лиго-плющевого шпилера по английскому-П... он ртах трахнулся, но не трахнулся... Мне было интересно, что бы об этом подумали какие-нибудь парни, живущие в комнатухах за 5 дубов в неделю, или на парковых скамейках, или в Миссии...

Знаете, главная беда, пока что, заключается в том, что между литературой и жизнью довольно большая разница, и те, кто пишет литературу, не пишут жизнь, а те, кто живет жизнь, исключены из литературы. В веках бывали прорывы, конечно, – Дос[тоевский], Селин, ранний Хем[ингуэй], ранний Камю, рассказы Тургенева, а еще были Кнут Гамсун – «Голод», целиком – Кафка и бродячий дореволюционный Горький... несколько прочих... но в большинстве своем все это ужасный мешок говна, а с 1955 года случился рецидив мешка с говном. Конечно, с тех пор на нас призрачно набросило ужасную кучу говняшек, и они проглочены (публично), но теперь мы в состоянии плесени, и особых прорывов не случается, поскольку все хорошие писатели пишут вполне себе, к черту, хорошо, но, ей-богу, уж очень похоже, поэтому теперь у нас что, опять поток???? ... никаких ГИГАНТОВ.

Ну, может, ГИГАНТЫ нам и не нужны. Гиганты отчего-то, похоже, бросили нас, многовато не додав. чего? Но опять-таки я до чертиков устаю от умелого и даже *человечного* писателя. Ответ тут где-то в колбасном небе, и я в смысле духа, а не тех идиотов, что мямлят луну. Первое зверство на луне, первая война не замедлят случиться. Быть может, первым зверством была человечья нога на нетронутом.

Ну, вы меня спрашивали о книжке Фокса про меня. Хотите прямо? Она скучная, прямая, академичная и несмелая. Там учебниковые лягушки скакали скучными скачками по лилейным листочкам. Скучно; я сказал это дважды; и трижды скажу: скучно, скучно, скучно. СТИХО-СМЫСЛ или СИЛА совершенно обойдены в том, чему мама учила: это сюда, а то туда – это такая школа, а то сякая школа. Нахуй. Я, к дьяволу, бывало дрался с бугаями еще с начальных классов и до колледжа, и они за мной ходили по пятам, насмехались, подначивали, но всегда больше одного, а я был один, и они знали, что во мне что-то такое есть. Терпеть это не могли; и до сих пор так.

Берже прислала свои произведения в журнал «Смейтесь литературно и всем стоять по местам у совокупающихся пушек».

[Кэрол Берже]

25 февраля 1969 г.

Ах, бля, Кэрол, эти не очень хороши. сижу тут пьяный + дождь идет. уже несколько дней, и эти не очень хороши.

«Края» считай наверняка плохие строки:

«Мягкое пожатие руки»

«Слабые откоряки»

«Мстящий нож»

Какого хуя, Кэрол? Что за хуйню ты мне даешь?

И без обратного конверта?

«Края» из них все равно лучшее.

Но твоя последняя строка ужасна. Французско-литературный романтизм XIX века. Что за хуйня. Сама же знаешь.

Я намерен выпускать хороший журнал. А это иногда означает быть жестоким, а быть жестоким иногда означает быть правым.

Томас подружился с Буковски, приняв два его стихотворения к публикации в «Записках из подполья»-2, где он был приглашенным редактором в 1966 г.

[Херолду Норзе]

26 февраля 1969 г.

[...] Почтенный Почтенный Джон Томас, благовоспитанный и благоначитанный, уж больно хорошо начитанный, говорит мне потом торжественно: «ты скучный становишься, когда пьяный, Буковски». ему всегда непременно *нужно* звать меня Буковски, как будто мы перед публикой, и необх., чтобы нас опознавали. у Дж. Т. полна голова слов и замыслов, очень хорошо организованных, но благодущных, благодущное искусство, крепкое и организованное, но благодущное, конезопый пулемет установлен на сияющий треножник и палит своими драгоценными пулями. что до Паунда, Олсона, Крили – все тот же сухой песок, однако я слушал мужика, поскольку он может быть юморным в эдаком злобном смысле. когда навеселе, я говорю ему, что Жизнь поистине кошмарна, люди, устройство, смертное окончанье, вся эта лабуда, а он отвечает: «ты никогда никакой *контракт* не подписывал, Буковски, где говорится, что Жизнь обязана быть прекрасна». а потом откидывается и губы немного облизывает, он на жизнь языком зарабатывает, и губами, и хуем, прекраснейшая женщина содержит его, пока он валандается в бороде своей мощной и с мощной жопой, и в синих джинсах. таким следует восхищаться и, в смысле помельче, презирать. Я ему сказал, что считаю тебя величайшим из живущих поэтов, а он потом эдак фыркает (думаю, на самом деле хочет, чтоб я ему сказал, что это он) и встает, и читает мне какое-то довольно жуткое барахло Крили или Олсона, а я просто сижу и слушаю и никак на это не отвечаю, но само письмо там настолько плоское и математичное, и автоматичное, и натужное, что старик Чернобрад просто наконец вздыхает, сам идет садится себе в кресло и пялится на

меня. приятно знать такого вот Томаса, и пусть он палит в тебя из всех орудий. я думаю медленно и готов слушать его фигню, а потом в конце скажу: «одну минуточку». и после этого уже я скажу что-нибудь. парируя, не защищаясь, а просто потому, что устал. и он скажет: «о, Ожениус Ормегус сказал это в 200-м до Р. Х. своим ученикам на шатровой площадке внешней Афинии перед Циклопической войной». но, по крайней мере, в Томасе есть перец. преподы английского лишь приходят сюда и лижут мне яйца, и все они одинаковы, высокие, мягкие, долговязые говнюки, стараются писать ЖЕСТКАЧ ПРО ЖИЗНЬ. боже. 3 месяца в году писать ужасные романы, поднять меня с постели и показывать мне свою поэзию – жесткач крутых парней – и делить б-рик, и пялиться на меня, и не понимать, чего я такой жирный и усталый, и чахлый, и истасканный, и больной, и злой, и тупой, и безразличный. или же, у тебя другие типы, богатые снобы с домом на побережье в Калиф., а другим в Луизиане и говорят: «от домов человек беднеет, они истощают его ресурсы», а потом пишут современные романы, взятые из твоих писем, и письма твои не возвращают, когда их просишь, потому что они помогут тебе остаться в живых. ты лишь платишь за жилье. тебе повезло. если только тебе на жилье хватает, что́ эти мудаки РАССКАЗЫВАЮТ своим студентам на ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ-I или II? должно быть, свято тошнотворно... эти мальчики с докторскими степенями, которые никогда не пропускали трапезы и не падали на пол пьяные, и не включали газ, без славени или пламени на 3 часа... что́ они этим деткам рассказывают???? что они МОГУТ им рассказать? ничего. поэтому, стало быть, все выглядят КЛЕВЫМИ ЧОТКИМИ И ПРЕМУДРЫМИ, и это фасад и рыбная вонь растраченных столетий. [...]

Я никогда не устаю тебе рассказывать, как хорошо ты пишешь, и ты уже должен к этому привыкнуть. Я не выношу все все почти все письмо. *si*, теперь так очень приятно говорить кому-то, как хорошо они умеют. В русском Досе это имелось. В Тургеневе больше, нежели в Чехове. хотя обоих слишком уж с говном мешали за стилистику. У Хема был стиль годный, но мог кровь в него вливать лишь в первой половине работы. ты один заточенный и выкованный реалист чистого Норзе-стиля. Я знаю, почему У. К. Уильямс тебя кусал. у тебя на морде нет намордника, что был на *нем*. у него случилось 3 или 4 добряка. ты же просто последовательно великолепен и бессмертен. когда б я тебя ни

читал, у меня самого письмо улучшается – ты меня учишь, как пробегать сквозь ледники и бросать закооченных блядей. я это не очень хорошо выражаю, но ты понимаешь, о чем я. черт бы тебя побрал, Норзе, я только что сжег весь поднос жареной картошки, пока ПИСАЛ о тебе! а весь день не ел, незль, иййии, вот уже ДВА дня, и какой-то пьянчуга снаружи колотит в перевернутый мусорный бак, и мы все скоро окажемся в тюрьме, вскоре мы все будем... маленькие ломтики моченой свеклы, под этикеткой в банке... о господи, что за срань, о боже, что за капкань... но я ж не подписывал КОНТРАКТ, правда? и что за «контракт» –

: их язык

Пикассо не напечатала стихи Буковски у себя в журнале.

[Паломе Пикассо]

Конец 1969 г.

спасибо за личное письмо. Я все равно собирался что-то отправить, но просто не хотел навязывать вам какую-то мочу. [Синклер] Бейле рассказывал мне о вашем проекте, и я считаю 3 его стихотворения, которые напечатал у себя в маленькой портянке «Смейтесь литературно», лучшими по манере письма, по форме, по юмору, жизни и потоку из всех, что я видел за многие годы. стало быть, вы знаете про Синклера, но у меня свои беды. Я один из немногих, кто не считает Берроуза каким-то там ходячим богом. Я считаю, что его нарезки и аранжировки пленок – просто заскучавшая в гетто обратная сторона благонадежного и солидного человека. ко. счетная машина сложила его с \$\$\$\$. это очень просто, но не давайте мне быть сукой. я вовсе нет. дело лишь в том, что я говорю то, что говорю, и всегда так поступал. я пускаю свой лишний ум вольно катиться. Давным-давно в переулках Нью-Орлеана, питаюсь одними шоколадными батончиками по никелю, я решил всегда пускать ум свой кататься вольно. это не значит быть «психом». а может, и значит. так или иначе, пока я тут колочу в 2 часа ночи, сидя между 2 драных настольных ламп на пишмашиночном столике, который мне подарили покойные родители

на день рожденья, и печатаю на печатке, подаренной мне просто так, меж тем слушая скверную фортепианную музыку по радио за 19 долларов из «Экономного аптечного», я разговариваю, снова вечером уйдя с работы, чтобы прийти сюда и попробовать вынуть 3 или 4 плохие строчки из приложенных стихов, а к этому времени уже выпил одиннадцать (бутылок пива) хаха – на чем я остановился?

ой.

в общем, я написал эти новые стихи за последние 2 недели, и может случиться, что человек за 2 недели просто не способен сочинить слишком много хороших стихов. Я в это не верю. Я верю, что необходимо то, что необходимо, вам решать. к несчастью или счастью, с каждым проходящим днем я больше и больше чувствую свою силу, с каждым проходящим годом, конечно, есть мелкие затишья, когда я искренне подумываю убить себя и очень близко к этому подхожу, особенно с похмелья. однако это, вероятно, общее место для большинства из нас. – ох, это был БРАМС! – черт, я не знал, что он писал такую паршивую фортепианную дрянь... о, и еще знайте – про Эзру П., просто не могу читать «Кантос»; от них голове моей больно, не всасываются толком. что со мной не так? может, просто до усрачки обезумевшее эго? вместе с тем какое-то равновесие, похоже, есть. например, на работе, в клетке, я крупный парень – 235 фунтов, легкий, не спорю, почти 50, я знаю, что по большей части себя проссал – эта банда меня точно урабатывает – я лишь смеюсь – они не схватывают – один парень меня даже обвинил в том, что я хуесос – я лишь рассмеялся – приходится смеяться над их гневом – это прекрасно, злобно и мощно – произведение Искусства – мне они в радость и все же меня от них тошнит – главным образом потому, что там все та же чертова тенденция – они никак не могут спрыгнуть с тенденции бить-ненавидеть, а это утомляет... утомляет.

в общем, я сделал открытие, что сопроводительные письма к подаваемому материалу почти всегда означают, что материал скверный. в общем. так или иначе, этот двор пьян. я живу в последнем дворе трущоб в Голливуде. они тут пьяные день и ночь. лесбиянки стараются быть женщинами. женщины пытаются быть лесбиянками. все вот это вот. мне в дверь барабанит 28-летняя девушка и каждый день пишет мне по 7-страничному письму. раньше она танцевала с 8-футовой коброй. или то был боа – конструктор? На самом деле я не так безумен,

как кажется, и мне нравятся тишина, пьянство, бега и глядеть на женские ноги в чехлах из тугого нейлона, как они взбрасывают тонкие лодыжки и заглядывают к себе в остатки душ и моей души собственными своими глазами...

конечно, бля, надеюсь, что в этом вы найдете стихотворение-другое; если нет, верните то, что вам не подойдет, или все целиком. отказ хорош для души. душа моя нынче мул.

1970

Приведенное ниже вступление было первоначально опубликовано в «Dronken Mirakels & Andere Offers», переведенных Белартом на голландский, но по-английски никогда не печаталось.

[Герарду Беларту]

11 января 1970 г.

[...] «Вступление»

Оглядывая эти стихи – говоря попросту и, быть может, мелодраматично: они были написаны моей кровью. Сочинялись они из страха и напускной храбрости, и безумия, и незнания, чем заняться еще. Они сочинялись так, как стояли стены, не подпуская врага. Сочинялись, покуда стены падали, и они пробивались и захватывали меня и давали мне понять что-то о священном зверстве моего дыханья. Нет никакого выхода; никак не победить в моей отдельно взятой войне. Каждый мой шаг – это шаг по преисподней. Я думаю, что дни плохи, а потом настает ночь. Ночь настает, и милые дамы спят с другими мужчинами – с теми, у кого лица, как у крыс, лица, как у жаб. Я плююсь в потолок и слушаю дождь или звук ничто и жду своей смерти. Эти стихи вышли из такого вот. Из чего-то вроде. Я не останусь совсем один, если хотя бы один человек на свете их поймет. Эти страницы – ваши.

[Марвину Мэлоуну]

4 апреля 1970 г.

[...] моя надежда – на то, что «Полынное обозрение» протянет столько же, сколько и ты. Я наблюдал за журналами где-то с конца 30-х, поэтому не могу отвечать за «Взрыв» или раннюю «Поэзию, журнал

стиха». Но «Полынное» я бы поместил на вершину вместе со старым журналом «Рассказ», «Изгоем», «Акцентом», «Декадой», это очень определяющая сила в формировании живой и значительной литературы. если это звучит напыщенно, пусть. ты проделал убойную работу.

дай-ка я сверну себе покурить. вот. да, я понимаю твое желание не слышать ничего от прима-д., но мне хотелось бы, чтобы ты знал – я не п. д. ты мог слышать про меня какое-нибудь говно и мерзости, но я тебе советую на сплетни внимания не обращать. Я и *впрямь* одиночка, всегда таким был, и лишь потому, что у меня опубликовали несколько мадригалов, это не значит, что я намерен меняться. Мне никогда не нравились люди литературного склада, ни тогда, ни теперь. Я выпиваю со своими квартирными хозяйкой и хозяином; я пью с бывшими з.-к., безумцами, фашистами, анархистами, ворами, но литературных ко мне не подпускайте. господи, как же они скулят и не кончают, сплетничают и плачут, и сосут. есть исключения. одно – Ричмонд. в нем нет никакой херни. я готов выпить со Стивом 5 или десять банок пива, и он никогда не выступит с какой-нибудь прискорбной литературной дрянью, да и ни с какой дрянью. слышал бы ты, как он смеется. но есть и другие типы. много других типов. маменькины сынки. торговцы. рекламщики. слабаки. сосуны. злобные маленькие телята. [...]

да, я подторговываю через машинку и кисть, какого хуя. и это отличная жизнь – и я ее сделал, пища и рисуя ровно так, как мне этого хотелось. сколько еще я продержусь и не утопну, не знаю. ты предлагаешь \$10 за 2 стиха, чертовски любезно. ну, поскольку я приторговываю, как насчет срезать пополам? как насчет \$5 за 2 стиха? справишься? это будет \$20 за 8 стихов, по публикации. причина, почему я торгуюсь, не только в ребенке – ибо это слезовыжимательная история, в итоге, хоть я ее и взаправду люблю – но трудно печатать в сволочном ряду, знаешь. в общем, Мэлоун, если сможешь 20, я возьму 20, когда угодно, ладно?

[Джону Мартину]

10 мая 1970 г.

[...] Не могу согласиться с тобой насчет замысла словаря для романа [«Почтамт»], но, если настаиваешь, давай сделаем, продолжаю выписывать слова. Мне кажется, большинство этих понятий очевидны, даже для постороннего. но я вполне рад, что ты, вероятно, намерен сделать роман, поэтому я пойду на компромисс, если необх. Хотя я действительно думаю, что словарь произведет удешевляющее и коммерческое воздействие. Подумай сам еще немного.

[Джону Мартину]

[Июль?] 1970 г.

[...] Насчет «Почтамта», я обнаружил место с «идеальным английским», что (которое?) меня беспокоило. Если хочешь дать его так, ладно. Но я сразу же ушиб об него большой палец на ноге, и оно могло остаться в первоначальной рукоп. Стр. 5:

3-я строка: «и мне ничего не платили». Как это слишком манерно. «и мне не платили» кажется не таким манерным. однако как угодно. как ни гляну на роман, он смотрится все лучше. кажется, мне сошло с рук то, что я намеревался, – то есть не проповедовать, а просто записывать. ага, мило будет, если мы заполучим права на экранизацию и оба разбогатеем, как делить будем, 50/50? твой контракт. так и вижу тебя в большом кабинете со штатом на полной ставке. а я в старой хижине в горах живу с 3 юными девушками одновременно. ах, грезы!

[Карлу Вайсснеру]

11 июля 1970 г.

[...] про «Почтамт» у меня много проволóчек от Джона Мартина, который парень хороший, но чересчур многим занят одновременно. он утверждает, что я написал «Почтамт», куда был немного не в себе – в этот переходный период после того, как бросил одиннадцатилетнюю пахоту. ну, это правда, я пошел вразнос. он уверяет, что это хороший

роман... может, даже замечательный, но у меня времена там вразнобой и причастия висят, все вот это вот. он утверждает, что должен выправить там грамматику, а потом сделать сколько-то машинописных копий. я с таким не согласен. Думаю, читаться он должен точно так, как написан. Джон сделал для меня много хорошего, но в нем есть и много квадратного. он этого не признаёт, но все писатели, которых он печатает, кроме одного, не больно-то опасны или новы; они вполне благонадежны, но Мартин зашибает деньги, так что хер там... это что-то доказывает, он даже хотел, чтобы я написал что-то вроде словарика в начале, где объяснялись бы какие-то почтовые понятия. я к этому не был готов и попытался его разубедить, но он написал в ответ и объяснил, что это мне просто скверно, потому что я на скачках проиграл. этот человек относится ко мне почти как к какому-то идиоту. раз вечером я выступал в программе на радио, и он мне позвонил и попытался внушить, что мне следует там ГОВОРИТЬ. «слушай, Джон, – пришлось мне ему сказать, – кто из нас Буковски?» но писателям приходится мириться с такой редакторской штукой; она не стареет, вечна и неправильна.

Джон говорит, что хочет придержать «Почтамт», пока не продадутся «Дни [скачут прочь, как дикие кони по горам]». говорит, что, когда выходит новая книжка, перестает продаваться старая, поэтому нам сейчас надо подождать. «Уверяю тебя, – пишет он, – что немцы не возьмут “Почтамт” в его нынешнем виде». что это за чертовня? никто не правил грамматику в «Заметках [старого козла]». я с ним подписал договор, и у него опцион на мои следующие 3 книги, поэтому вот. и я не думаю, что он намерен выпускать куда-то машинописные копии, пока не будет готов сам сделать книгу на английском. конечно, если я никуда не денусь, и вы с Мельцером никуда не денетесь, я отправлю машинописную копию вам и паре других людей, и после этого мы можем надеяться на то, что ее кто-то примет и мы поторгнемся? господи. и мне придется прошерстить весь этот вариант с исправленной грамматикой и вернуть в него немного себя. он утверждает, что книга выйдет Осенью или Зимой, или как-то, но мне отчего-то кажется, что дело затянется. книги, которые он издавал, пока что были вполне безопасны, а в «Почтамте» много ебли и воплей, а также, вполне возможно, безумия. думаю, она лучше «Заметок», и я писал короткие пулеметные главы в надежде придать ей

живости и темпа и чтоб избежать романной атмосферы, которую терпеть не могу.

Не пойми меня неверно, Джон прекрасный человек, но я чувствую, тут он немного боится опубликовать эту книгу. она куда скорей грубая, чем литературная, и я думаю, подсознательно он опасается, что она ему испортит реп. вот поэтому у нас все так – дохло и затхло, и я себя чувствую запертым. [...]

Кстати, я только что продал 3 или 4 главы из романа грязным журнальчикам, один на днях вышел; уже расплатились и остальные. это было еще до того, как я отправил машинопись Мартину, а это как отправлять кого-нибудь из своих детей в ебаные могилы. в общем, я перепечатал эти рассказы прямо по машинописи и не услышал ни единой жалобы на болтающиеся причастия. вот честно надо отправить это письмо Мартину, а не тебе, но он же только с отцовским советом полезет. я даже сказал ему как-то: «Господи, ты ведешь себя, как мой отец». А потом сказал ему: «Может, я тебя должен назвать соавтором “Почтамта”».

«О, нет-нет, ты не понимаешь. Я не меняю тебе стиль или что-то. Я хочу, чтобы ты пробился, какой ты есть. Но уверяю тебя, что немцы ни за что...»

«Да, отец».

«Слушай, я тебе звонил, Буковски, но тебя никогда нет дома. У тебя там гулянка или ты на лошадаках играешь?»

«И то, и то».

Вот такие дела, Карл, довольно сальная липкая муть. У меня там есть сцены, где парню на задницу валяются цветочные горшки, когда он ебется, это взято из моей жизни. моей жены. грязная халабуда на горке, с мухами и собакой-идиотом. часть книги. моя жена блевала, пока жевала жопки китайских улиток, а сам я верещал: «У всех жопки есть! Даже у деревьев есть жопы, только ты их не видишь!» так далее и так далее.

мне парень позвонил. «Я прочел этот кусок в грязном журнальчике. это из вашего романа?»

«ну».

«Господи, это смачно! Когда роман выходит?»

«Есть технические закавыки».

«Скажите им, чтоб выпускали. Жду не дождусь».

«Боюсь, – говорю я ему, – придется». [«сказал» – ха ха ха!
добавлено от руки] [...]

ладно, наверно, я сегодня вечером слишком много ною. я же просто какой-то парень из Андернаха. что, как кто-то мне сказал, сраный квадратный городишко. ну, поставь тогда и Андернах мне на вид. Андернах – болтающееся причастие, сухая пизда, муха в воде со льдом... Но я там родился, и когда кто-то говорит «Андернах», я ухмыляюсь и говорю: «ну». пускай меня за это повесят. вот и все дела.

[Роберту Хеду и Дарлин Файф]

19 августа 1970 г.

По мне, так некоторые члены «Женского освобождения» пытаются подвергнуть цензуре свободу самовыражения, такой цензуре, что превосходит даже честолобивые стремленья каких-то городских, окружных, штатовых и правит. групп осуществлять ее в тех же целях и теми же методами. Мужчина может написать рассказ про еблю или даже паршивых женщин и не быть при этом женоненавистником. Сестрам следует понимать, что ограничения, налагаемые на определенные формы письма, в конечном итоге ведут к контролю и ограничению всех видов письма, за исключением тех, что избраны каким-то санкционированным органом. Писателю необходимо позволять касаться всего. Селина обвиняли в антисемитизме, а когда его спросили о некоем пассаже: «Тяжелая поступь еврея...» – он заявил: «Мне просто не нравятся все *люди*. В данном случае вышло так, что это еврей». Некоторые группы чувствительнее к упоминаниям себя, чем другие. Некоторые люди возражают против того, чтобы ими пользовались как моделями. После своего первого романа Томас Вулф не мог вернуться домой. Только потом. Пока его не оправдали и не одобрили критики. Пока он денег не заработал. Только тогда родня стала гордиться, что попала в его романы. Творение не выдерживает ограничений. Скажите сестрам, чтобы трусики себе не парили. мы все нужны друг другу.

[Херолду Норзе]

15 сентября 1970 г.

не о чем писать. я подвешен за яйца. рассказы возвращаются с той же скоростью, с какой я их пишу. все кончено. само собой, остались стихи. но за жилье стихами не расплатишься. мне очень погано, вот и все. писать нечего. надежды нет. шанса нет. финиш. Нили пишет, что повсюду видит «Заметки старого козла» и «Пингвин 13». «Заметки» теперь переводят на немецкий, хорошая рецензия вышла в «*Der Spiegel*» – это такой немецкий «Ньюзуик» – тираж один миллион, но, несмотря на все это, мое барахло мог бы написать и Джек-Потрошитель. продолжать очень трудно. сегодня первый чек за 2 месяца – паршивые \$50. Рассказ для грязного журнальчика про парня в психушке, который перелезает стену, садится в автобус, дергает тетку за сиську, спрыгивает, заходит в аптечную лавку, хватает пачку сигарет, закуривает, сообщает всем, что он Бог, затем дотягивается, задирает на маленькой девочке платье и щиплет ее за попу. наверно, таково и мое будущее. финиш финиш финиш. Хэл, мне фигово. писать не могу.

[Лафайетту Янгу]

25 октября 1970 г.

[...] Мне приходится бухать и играть, чтоб оторваться от пишущей машинки. Не то что я не люблю этот старый механизм, когда он правильно работает. Но знать, когда идти к ней, и знать, когда от нее уходить, – в этом весь фокус. На самом деле я не хочу быть *профессиональным* писателем, я хочу писать то, что хочу писать. иначе все это впустую. Не хочу выглядеть праведником; тут ничего праведного – скорее как эдакий Морячок Пучеглаз. Но Пучеглаз знал, когда шевелиться. Как и Хемингуэй, пока не начал разговаривать о «дисциплине»; Паунд тоже говорил о том, чтобы делать «работу». говно это, но мне повезло больше, чем им обоим, потому что я работал на фабриках, и бойнях, и на скамейках в парке и знаю, что РАБОТА и

ДИСЦИПЛИНА – непристойные слова. Я знаю, что они означают, но для меня игра должна была быть другой. это же как хорошая женщина: если ебать ее по 3 раза в день, 7 дней в неделю, обычно особого добра не принесет. все должно быть обустроено. конечно, я помню одну, так с ней оно работало. само собой, мы пили вино и голодали, и нам нечего было делать, только тревожиться из-за смерти, и квартплаты, и стального мира, поэтому у нас так получалось. (Джейн.) но теперь я так стар и уродлив, и девчонки уже редко приходят ко мне, поэтому остались только лошади да пиво. и еще ждать. обслуживать смерть. обслуживать пишушую машинку. легко быть умником и блистательным, когда тебе 20. Я таким не был, потому что всегда был по-своему довольно-таки недонормален. теперь я крепче и слабее, но раз у меня сейчас лезвие у горла, мой это выбор ИЛИ нет, он есть, всюю. и жизнь я сильно никогда не любил; в основном она была очень грязной игрой. родился с раскладом помереть. мы всего-навсего кегли, друг мой. [...]

Гай Уильямс пробовал выкачать средства из факульт. английского на читку. Одну дали \$2000. остальным обычно от 3 до 500. бедняга Уильямс, должно быть, огреб вагон дерьма. английский фак. не захотел Буковски. лады, может, они и правы. у меня по английскому две «двойки» в Городском колледже Л.-А. так или иначе, Уильямс добыл \$100 из средств фак. Искусств, чтобы устроить мне поэтическое чтение! Надеюсь, ему это не подгадит. по-моему, я тебе говорил, что читки для меня – чистейший потный ад, но я выскользнул ездить и продаваться, когда отложил в сторону эти проклятушие письма на почте, а за жилье вместо меня никто платить не будет, потому что я предпочитаю весь день валяться, пить пиво и слушать Шостаковича, Генделя, Малера и Стравинского. поэтому я и читаю. моя последняя читка, ун-та шт. Калифорния в Лонг-Биче, я сперва проблевался, затем читал, а на стол падали капли моего пота, и я стирал его кончиками пальцев. но тут другая часть меня, что дает мне выдержать до конца. Ну, если Оден стоит 2 штуки, может, он нас чему-то научит. вероятно, как устроить себе пиздец.

Рассказ, о котором ниже говорит Буковски, – «Христос под шашлычным соусом», опубликованный в таблоидной газете в 1970 г.

[Уильяму и Рут Уонтлиг]

30 октября 1970 г.

[...] Я отправил вам рассказ, потому что подумал, вы оба сможете *разглядеть*. что людоеды тоже могут быть людьми, как пауки – пауками. То есть то, что тебе нужно, – тебе нужно, оно там внедрено. мораль – просто демократическое или фашистское цеплянье друг к другу умов, которые видят ту же картинку, формулу, шифр или что угодно. все это основа; тут не о чем спорить. хорошие парни хуи себе не сосут. ведь так?

история взята из сводки новостей, которую сам я не читал, но мне про нее кто-то рассказывал, пока я бухал с ним и его женой. он теперь препод, и я ему сказал, что оно того не стоит, что ему яйца отрежут, не сразу, но со временем. конечно, жене его это нравится, а мне нравится его жена, потому все и запутано. многих преподав я даже на порог не пускаю; говорю им, что у меня грипп, а он у меня обычно есть, хватаю их чертово пиво, говорю спасибо, сижу в темноте и надеюсь на Моцарта, Баха или Малера, ос. Малера, и пью эту срань. о чем бишь я? о ага, сводка новостей. историю я взял оттуда. там все так было, я думаю, что людей этих сцапали в Техасе, и когда их согнали на обочину, один как раз догрызал остатки мяса с костей пальцев. ну, пока слушал это, я пил, и мне показалось, что это смешно. в смысле, да. знаете, детки, я дважды работал на бойне, а когда видишь повсюду прорву кровавого мяса, понимаешь, что просто мясо есть мясо, и мясо это как-то попадает в капкан, вот и все. ну а я не прошу, чтобы меня ловили, жарили и ели. я старый, но в левом кармане таскаю добрый кусок стали, и если меня не сцапают пьяным или доверчивым (см. Цезаря), кто-то своей собственной крови увидит. о чем мы там? короче, я решил, что это очень смешная история. Людоеды в Техасе. По-моему, много врачей, хирургов особ., – людоеды, они просто яйцами не вышли размахнуться до самого предела, поэтому просто ебутся и чикают что ни попадя. рассказ, рассказ. я пью, набухался. лла лллаа, ла ла, я же просто попытался рассказать, отчего это могло так произойти, и показать, что, по сути, это не ПРЕСТУПЛЕНИЕ, а ФУНКЦИЯ, обусловленная ЧЕМ-ТО.

это юмористический рассказ, потому что в нем допускаются все человеческие возможности без мук совести; юмор здесь в том, что нас учат лишь достойным представлениям и возможностям той унылой математики, что называется Жизнью.

[Джону Мартину]

[Ноябрь?] 1970 г.

Прилагаю кое-какую писанину. Не стану утверждать, будто это что-то иное. Теперь, раз я поднял эти 4 колонки для «Откровенной прессы», поглядим, что они сделают. Я не против заработать немного мелочи, сочиняя что-нибудь под мухой. У меня чувство, что я уж больно стар, чтоб меня могли уничтожить – творчески, – это въелось в меня, как смерть, уже не стряхнуть. Но, по сути, писать – торговля крутая, а мне очень нравится, когда мне поступают \$\$\$\$\$. Полезно для духа.

Не пойми меня неверно. Когда я говорю, что письмо по сути – крутая торговля, я не имею в виду, что это скверная жизнь, если она сходит кому-то с рук. Это чудо из чудес – жить печаткой. И твоя помощь – просто дьявольски духоподъемная подпитка. Ты никогда не узнаешь, насколько. Однако для того, чтоб писать, требуется дисциплина, как и для чего угодно. Часы пролетают очень быстро, и даже когда не пишу, я кристаллизуюсь, потому-то мне и не нравится, если люди вокруг тащат мне пиво и болтают. У меня от них прицел сбивается, я из потока выныриваю. Конечно, я не могу сидеть перед печаткой день и ночь, поэтому бега – самое место, чтобы соки ВТЕКЛИ В МЕНЯ ОБРАТНО. Могу понять, зачем Хемингуэю требовалась его коррида: это быстрая вставка действием, чтобы поправить прицел. С лошадками у меня то же самое. У меня все эти люди на арене, а я должен выполнять движения. Именно поэтому, проигрывая, я так расстраиваюсь. Во-первых, мне это не по карману; во-вторых, я понимаю, что сделал неверные движения. У лошадей выиграть можно, если кто-то превращает это в искусство, но в то же время лошади съедают весь твой досуг, а он нужен писателю. Поэтому я пытаюсь играть во все соответственно – досуг, когда уместно, и соки текут, и

печатка гудит. когда печатка стихает – обратно на арену к быкам. проверить, насколько точны мои движения. Наверно, я тут не очень внятно. Эх, что ж.

[Кёрту Джонсону]

3 декабря 1970 г.

То, что отбросили подпись, нормально.

Просто рад, что сумел пустить крученный с вашей помощью, парни. Тот чек на \$45 не вернулся так или иначе и дал мне возможность отремонтировать мой старый «комет» 62 года, чтоб опять заработал, и так я смог ездить на свои поэтические читки, где выступаю полупьяный и сторговываю себе еще несколько дубов. Теперь вот слушаю Хайдна. Должно быть, я спятил. Но рассказ писать мне понравилось. Прочел в газетах, что поймали каких-то людоедов где-то – в Техасе, по-моему, – и когда их остановили, эта девка как раз счищала мясо с пальцев руки, обгрызала... Оттуда я это и взял.

[Герарду Беларту]

4 декабря 1970 г.

[...] Кто-то недавно вечером подарил мне экземпляр «Из замка в замок», так что не присылай, но спасибо. Я его сейчас читаю. С «Путешествием» не сравнится... У него в книге нитье что надо, но он стоит слишком уж *близко* к самому себе. В книге недостает юмора через ужас, как в «Путешествии»... от правды всегда смеешься, особенно если правда эта особым образом и особым стилем излагается. Но, наверно, ему слишком уж часто драли жопу; человек наконец прогибается и ломается, и теряет хватчонку... великое Искусство – чистое безумное разглагольствование в золотой клетке. Здесь же Селин скорее швыряет нам гнилые яблоки и брызжет соплями. Все же, будь «Замок» написан кем-то другим, не Селином, я бы сказал: «Слышь, а

глянь – это ж совсем неплохо!» Но тут все как с Бейле – сравниваешь лишь лучшее с лучшим. Никуда не деться. Стоит человеку подпрыгнуть в воздух на 18 футов, а потом он сдает назад и прыгает всего на 13 футов, нам этого не хватает.

[Нормену Моузеру]

15 декабря 1970 г.

Ну, мы все проходим через что-то свое – или же померли. Или мы живем и мертвы – «мертвая жизнь этого человека / жизнь этого человека умирает /» Транжира-Стивен, когда он шел хорошо... Теперь же, черт, я потерял ту штуку, что ты мне посылал, попросил меня что-то о чем-то написать, поэтому мне придется выезжать в форме личного письма. Делай с ним, что хочешь. Мы ж давно знакомы, или как? – с тех пор, как я навязал тебе десятку или двадцатку, когда у тебя были только спальник и кипа стихов, а я сказал, что вот это стихотворение нормальное, а вон то мне не нравится, а парень выбрал одно из твоих худших и сказал: «Вот это *стих*...» Я такого вообще не понял, а мы, видать, тогда бухали, и все закрутилось вокруг того стиха, вы с парнем орали друг на друга, а потом он тебя выпнул, и я помню твои слезы... тетрадки и грязные чулки у тебя все были перевязаны веревкой. Грустно было, черт, еще как, это было грустно. и мы вместе спустились по лестнице, и ты сказал: «Буковски, мне ночевать негде». А я сказал: «Слушай, пацан, я одиночка. Я терпеть не могу людей, ни хороших, ни плохих; мне нужно быть одному... Господи, да сними ты себе комнату...» – и сунул тебе купюру, и убежал в ночь. Буковски, великий понимала, был трус. Откупился от тебя, вот что я сделал. Чтоб только остаться наедине с собственными костями. Когда мы виделись в последний раз, тебе, судя по виду, было удобнее, после моей поэтической читки в У[ниверситете] Н[ью]-М[ексико], хотя я и был немного пьян, тебе, как я заметил, было вполне удобно и спокойно, и ты помянул старину, бумажку, что я сунул тебе в руку, поэтому там было как-то странновато и забавно, столько миль и лет от того, где это случилось впервые, мы оба старше, особенно я, и оба по-прежнему живы. что ж.

Значит, возвращаясь к пачке, высланной мне, и некоторым вопросам, заданным, обдумываемым или как-то... конечно, сейчас у нас времена монументальные... все наши времена были монументальны, потому что такова жизнь каждого человека, 1970-й, 1370-й, 1170-й... Конечно, мало сомнений, что общий тон накручен. Есть вероятность, что впервые в истории у нас война не нации против нации, а цвета против цвета – Белый, Черный, Бурый, Желтый. На улицах ярость, ненависть. Беда с Белой расой в том, что слишком многие в ней друг друга ненавидят; у других рас тоже так, но не до нашей степени. Нам недостает связности Братства. У нас есть лишь одно, некая ужасающая мозговая мощь и ушлость, да способность драться в нужное время, умение перехитрить, провести и даже задавить противника кишкой. Сколько бы Белый человек ни ненавидел себя, он попросту *одарен*, но по тому или иному это может быть конец... «Упадок Запада» Шпенглера, написанный столько лет назад... знаки видны... Либо Бельшу наконец предстоит обзавестись какой-никакой ДУШОЙ, либо вся его ушлость станет всего-навсего разбрызганной дрочкой...

Возможно, в пачке твоей все равно говорилось и вовсе не про это. После того как я ее получил, у меня было слишком много пьяных ночей и депрессивных дней. И вечно все теряю – работы, женщин, шариковые ручки, победы в драках, запросы на гранты Национального фонда искусств, тому подобное... о чем бишь я?

Ах да, так или иначе, должен сказать, что поэту опасно становиться в позу пророка, поэту/писателю выставляться пророком. Тут в С. Ш. самые серьезные писатели пишут по многу лет, пока о них не услышат или их не признают, если это вообще случится. К несчастью, признают много чертовых дурней, потому что мозги их близки массам. Обычно же писатель сильный на где-то от 20 до 200 лет опережает свое поколение, а потому голодает, кончает с собой, сходит с ума и признан только, если куски его работы как-то потом находят, гораздо позже, в обувной коробке или под матрасом на кровати в борделе, знаешь.

Ну ладно. Скажем, великому писателю С. Ш. наконец все удается... в смысле что ему больше не нужно беспокоиться о плате за жилье, и он даже время от времени ложится в постель с хорошеньким и приятным на вид женским оковалком. Большинство их выдержало

(писателей, не женщин) что-то от 5 до 25 лет непризнания – и когда они, в конце концов, *получают* свой шмат признанья, удержать его не могут. Обезьяна? Черт, еще б! Эта тв-станция? ладно? о чем вы хотите, чтоб я поговорил? Ага, поговорю. О чем хотите узнать? О мировой истории? Смысле Человека? Экологии? Взрыве Народонаселения? Революции? Чё вы хотите узнать? Фотограф из журника «Жизнь»? Конечно, впускайте.

Вот тебе парень, который 15 лет клялся дешёвое пойло в маленькой комнатенке, в туалет пострать вынужден был ходить по коридору. А когда печатал, старухи били в потолки и полы свои ручками от швабр, пугая его до чертиков...

«Прекрати, дурак!»

Вдруг каким-то фокусом – он известен... Работу его запрещают, или он шел по Бродуэю с вываленным наружу краником во время Парада Санта-Клауса, и выяснили, что он поэт... Тут годится что угодно. Талант полезен, но не всегда обязателен. Одна из величайших фраз была сказана не философом, а бейсболистом, которому вечно с трудом удавалось держать средний балл у.250... Лео Дюрошер: «Пусть лучше буду везучим, а не умелым...» Все из-за того, что Дюрошер знал: десять или двенадцать одиночных через внутреннее поле с удачным отскоком – вся разница между низшими и высшими.

Стало быть, у тебя старые добрые С. Ш. А. В данный миг, возможно, имеется лишь дюжина писателей, кто способен писать живо и с грандиозным жаром. Из них, скажем, двоих признали (как-то, повезло), 8 сойдут в могилы, даже нигде не опубликовавшись. Оставшиеся 2 будут обнаружены и раскопаны впоследствии по некоему случайному стечению обстоятельств.

Так что происходит, когда одному из дюжины великих наконец везет и он попадает в огни рампы? Легко. Его убивают. Он жил в этих комнатенках и голодал так долго, что теперь верит, будто заслуживает всего, что на него валится, – и продается, стараясь заполнить пустоты одиноких лет...

Уважаемый м-р Эванс!

Вы не напишете нам что-нибудь по Черно-Белому Вопросу, или о Хиппи, или Куда Мы Идем в Нынешней Америке? Что-то в таком вот ключе. Готовы заверить, что все вами написанное будет принято к публикации. Мы заплатим

вам по сдаче работы в диапазоне от \$1000 до \$5000 за статью, в зависимости от ее объема. Мы всегда были почитателями вашего творчества... Кстати сказать, вам известно, что одна из наших помощниц редактора, Вирджиния МакАнальни, сидела рядом с вами на занятиях по английскому-II в Университете таком-то?..

И вот человека, сохранявшего свой стиль, свою энергию и свою истину строго в форме Искусства, внезапно посещает богатство. Ему предлагают устраивать читки в Университетах от \$5000 плюс расходы до 2 штук плюс расходы плюс все, что ему захочется отъебать, если он после читки или вечеринки еще для такого трезв... Тому, кого ненавидела квартирная хозяйка в комнате за 8 долларов в неделю, отвернуться от такого легкого пути очень трудно. Там, где прежде он был чистым Художником, говорившим, как полагается, из боли, безумия и правды, теперь все желают слушать его лепет, когда ему больше нечего сказать. Имя. *Имя!* Вот что им нужно. И, если можно, борода. Американский Художник, насколько мне известно, за исключением Джефферса и Паунда, всегда заглатывает приманку. Никакие имена сразу мне на память не приходят. Но обзывательство ничего не доказывает. Это так и есть! Их обставляют и ловят – и в конце концов, хоть они этого и сами не понимают, их выбросят. Потому что недоразвитую толпу так или иначе завлекли их изначальные энергия и правда...

Сомневаюсь, что именно этого ты и хотел, Норм. Я зациклен на собственной тресковой душонке и не претендую на исключительность, хоть она у меня, вероятно, и есть, скажем, в моем, рыбно-скользком смысле. Когда меня наймут писателем в штат «Нью-Йоркера», дам тебе знать. А до тех пор – яйца по ветру, затычки долой, и я сижу тут со всеми разнообразными оттенками обувного крема... кто б сюда первым ни вломился, я с ним... намажу погуще... У меня все цвета, все оттенки... ох постой, одного не хватает... ох бля, *этот* у меня уже есть...

Удачи тебе с твоим номером про гуру. Мне кажется, однако, он будет очень скучным и святеньким... все эти рты, говорящие все и ничего. ну, ты сам напросился.

1971

[Лоренсу Ферлингетти]

8 января 1971 г.

пока ты бегаешь по всей стране с Корсо и Гинзбёргом, давая читки в университетах и ебя всех юных студенток, и пока я валяюсь тут, творя Искусство, происходит всякое... ох, прости меня, я не предполагал намекать, что Гинзбёрг ебет каких-то цып. Я знаю, у него заезд по экологии и... слушай, я тут узнал от одного парня, который платит эти фант. авансы за книжки рассказов... потому отправил ему несколько образцов и полагаю вскоре услышать ответ, но догадка моя в том, что ответ будет «нет». Сдается мне, его барахло мое напугает, поэтому поглядим. Ладно? Мне бы действительно очень хотелось увидеть, как кто-нибудь сделает книжку моих новых рассказов, а я думаю, что этот парень засыт... поэтому я скоро буду стучаться тебе в дверь с мешком своих склизких сальных порочных охуенных рассказов... у нас будет много возможностей собраться вместе по КАКОМУ-ТО поводу, иисусе-христе, похоже, так и будет...

[Стиву Ричмонду]

Март 1971 г.

ладно с «Почтамтом» хорошо, что он тебе вкатил. Я там пытался держать какой-то ТЕМП. от большинства романов мне скучно, даже от великих. никакого темпа. Мне нравятся речки, текущие побыстрей. ладно.

ага, «Превращение» завораживает. нет, Кафка я не думаю, что сильно роется в женщинах; но для того, куда добирается, он хорош. Джефферс, разумеется, пережил кровоток, поэтому ему удалось забраться внутрь женщин и выглянуть из них так, как они смотрят, – а

мне такого пока сделать не удалось, возможно, и никогда не получится. Д. Г. Лоренс туда так и не добрался, к черту репутацию. у него просто эта одна крупная довольно-таки мать-корова, и все ему являлось через эту корову-мать – я бы скорей решил, что Лоренс человек грудей, а не ног – так или иначе, у него эта ТЕЛКА, и все через телку передается, все значения, все оттенки смыслов, поэтому не вполне он это уловил. одна телка: одно послание.

[Лоренсу Ферлингетти]

22 апреля 1971 г.

Спасибо за открытку. Я весь под парами с книгой, ЙОУ! вчера ночью уснуть не мог, поэтому сел перебирать «Открытые города», главным образом они крупного формата, что выпускались после того, как «Заметки» (книжкой) вышли... с этими вот, листая их, я обнаруживал один рассказ, за ним другой за ним третий. Хорошая это срань, Лэрри. Не успел я перебрать всю пачку, КАК У НАС БУДЕТ ЕЩЕ МЕЖДУ 25 и 50 РАССКАЗОВ! *Дичайшая* срань после Боккаччо и Свифта! Ты просто не ЗНАЕШЬ, на что наткнулся, мужик. Тебе пойдет в зачет, что ты величайший редактор всех времен. Сперва «Вой», теперь это. Вот увидишь. [...]

Прости мне восторги. Но это будет бомба, это будет конец луне. ей-дроч христе, да. Завтра мне надо читать в Ю. К. и на выходных немножко ебаться, но где-то на следующей неделе все эти другие рассказы на тебя обвалятся. сладостное чтение. [...]

Ладно, книжка на пламя выше неба!

Мы авансируем и презрим дурацкие реальности и пресные нереальности бах бах!

Вся рыба полетит, вся птица поплывет, озеро станет луковым супом, а кровь никогда не умрет.

Буковски отправил Ферлингетти два рекламных текста, приводимых ниже; Ферлингетти поместил первый на заднюю обложку «Эрекции, эякуляции, эксгибиции и вообще историй обыкновенного безумия», а второй так и не был напечатан. Предполагаемая книга

стихов и прозы «Буковскиана» тоже не состоялась и в итоге превратилась в «Эрекции».

[Лоренсу Ферлингетти]

30 декабря 1971 г.

Спасибо за письмо и брошюру заказов... Наверно, «Буковскиана» – это всерьез. Я по-прежнему сильно бодр и возбужден насчет книжки. И впрямь считаю, что она у меня будет лучшая.

Да, снимок спереди годится. А сзади... ну я не знаю. Кстати, надо «Король жесткоротых поэтов...» Если хочешь это взять, дело твое. Почти всю свою писанину я делал для «Открытого города»... это к тому, что в брошюре. очень мало, едва ли вообще что-то для «Свободной прессы Л.-А.»... Не знаю, какие-такие напористые цитаты нам можно взять... Я устал от той, где Сартр и Жене считают меня лучшим поэтом в Америке. Даже не знаю, откуда она взялась. Сомневаюсь, что это правда, думаю, это Джон Уэбб раздул, а остальные подхватили. Не знаю, в общем.

Если хочешь чего-то на зад книжки, могу дать тебе грубую сводку:

Чарльз Буковски, род. 8–16–20 в Андернахе, Германия. Привезли в Америку в 2 года. 18 или 20 книг прозы и поэзии. Опубликовав свою прозу в «Рассказе» и «Портфолио», Буковски бросил писать на десять лет. В результате этого десятилетнего запоя его положили в благотворительную палату Окружной общей больницы Л.-А. истекающим кровью. Некоторые утверждают, что он не умер. Выйдя из больницы, он раздобыл пишущую машинку и снова начал писать – на сей раз поэзию.

Позднее он вернулся к прозе и приобрел некоторую известность своей колонкой «Заметки старого козла», которую писал преимущественно для газеты «Открытый город». Проработав 14 лет на Почтамте, он подал в отставку в возрасте 50 лет, как сам он говорит, чтобы не сойти с ума. Теперь утверждает, что ненанимаем, и питается лентой от пишущей машинки. Единожды женат, единожды разведен, многократно сожительствовал, и у него есть 7-летняя дочь... Эти

грязные и безнравственные рассказы появлялись главным образом в подпольных газетах, из которых в их публикации «Нола Экспресс» была ведущей. Другие появлялись в «Вечнозеленом обозрении», «Рыцаре», «Адаме», «Картинках» и «Чтиве Адама». За Буковски по-прежнему голосуют. Компромисса, похоже, тут нет – люди либо его любят, либо ненавидят. Истории о его собственной жизни и похождениях дики и причудливы, как сами рассказы, что он пишет. В каком-то смысле Буковски – легенда своего времени... безумец, затворник, любовник... нежный, злобный... никогда не похожий на себя... это исключительные рассказы, что с грохотом вываливаются из его жестокой и убогой жизни... кошмарны и святы... вам не удастся прочесть их и остаться прежним.

Ну, Лоренс... что-нибудь в этом роде... Не знаю... Что скажешь?

[Второй фрагмент для обложки]

«Словарь безумия и печали»

Чарльз Буковски

«Эрекции, эякуляции, эксгибиции и вообще истории обыкновенного безумия»

Ни одна книга в «Городских огнях» не распалая такого возбуждения после «Воя» Гинзбёрга, как этот только что вышедший гигантский том рассказов Буковски – 478 страниц. Буковски – это Достоевский 70-х. Буковски не только пишет рассказы – в них растворена вся его маниакальная и любящая душа. Его письмо грубо, но это чистый смех сквозь боль. Многие из этих рассказов – о любви, но едва ли это обычные любовные рассказы. Они скорее написаны кровью и душой мучений, а не интеллектом. Буковски и о трагедии пишет с юмором – заляпанные кровью города, одинокие стены, любви, что не удалась, он часто рассматривает с комическим изяществом, которое чуть ли не безгрешно. В некоторых историях тут может быть даже ненависть и/или непристойность, но Буковски – игрок: он никогда не тужится, чтобы понравиться, ни лично, ни в своих произведениях. Многие наши критики утверждают, что Чарльз Буковски – один из лучших поэтов нашего времени. Эта книга рассказов – также событие нашего времени, подвиги ужаса и гения от

51-летнего человека, много лет остававшегося тихонько сокрытым от литературной общественности, который до сих пор – изоляционист и загадка... Если хотите попасть в этот причудливый цирк, на эту черную мессу с любовью, привинченную в дверном проеме пивных банок.

1972

В номере газеты «Нола Экспресс» от 4 августа 1972 г. поэт и учредитель феминистского издательства «Бесстыжая девка» Алта призналась, что ее «шокировали и ранили» «фантазии об изнасиловании» Буковски, опубликованные в «Нола Экспрессе» Дарлин Файф.

[Дарлин Файф]

13 августа 1972 г.

Попутала твоя Алта. Есть мужчины, которые насилуют, и те, кто думает о насилии. Писать об этом не значит, что автор потворствует насилию, даже если написано от первого лица. Право на творчество – это право упоминать то, что существует на самом деле. Я даже некоторых женщин знаю – лично, – чье величайшее желание – быть изнасилованными. Творчество есть творчество. К примеру, лишь оттого, что человек черный, это не значит, что он не может оказаться сукиным сыном, а потому, что женщина – женщина, это не значит, что она не может быть сукой. Давайте не будем подвергать себя цензуре от действительности из позы ходячей добродетели. Также, судя по тому, что Алта цитирует из моей колонки, я вижу, что она до того яростно праведна (почти сродни религиозному маньяку), что упускает из виду смысл всего этого: что я насмехаюсь над самцовым отношением к женщине. Мне жаль, что Алта пострадала на супружеском ложе (как она сама упомянула). Но позволь мне напомнить милочке, что и *мужчины* страдают на супружеском ложе. Иногда *они*-то как раз и суть те, кто служит. Вот правда. Могу сказать, что Алта – женская шов. свинья. Мужчины тоже ищут женщин, способных принять любовь. Предрассудок направлен во все стороны. Но почти бесполезно отражать такую атаку, как у Алты. Это лишь больше подстрекнет ее в неверном направлении ходячей добродетели. Но все равно таким типам иногда надо отвечать. Знаешь, раньше говорили, как человек, любящий

домашних животных, детишек и собак, может быть плохим? А теперь так: как человек, который против войны, грязной воды, грязного воздуха, как человек, сражающийся за права женщин, может быть плохим человеком? Или, как прежде бывало, у него длинные волосы и борода, с ним все в порядке. Ну, бля, сама видишь, все это может быть только позой... Я оставляю за собой право творить в любой манере, какую диктуют действительность, или юмор, или даже – каприз. Ладно.

[Уильяму Пэкерду]

13 октября 1972 г.

это писание поэзии, нам тут приходится играть нечестно. Я рад, что могу работать немного с прозой, и бухать, и драться с женщинами, чтоб сорваться с этой ниточки. Иногда залезаю в эти ремесленные интервью, и такое чувство, что они красное дерево полируют. Полагаю, все оттого, что такие люди слишком прилежно учатся и слишком мало живут. Хемингуэй жил жестко, но тоже заперся в своем ремесле, а некоторое время спустя ремесло это стало клеткой и его прикончило. Полагаю, все дело в том, как на ощупь оттуда выбираться. это как зеркала, в которых мы, бывало, терялись во всяких местах на набережной, когда были детьми. довольно легко все растерять, самому потеряться. и я тут не говорю ни с какого постамент. давайте выпьем пива за удачу и будем надеяться, что дамы по-прежнему любят наши морщинистые души и увядающие лядвия, о, как поэтично. бля.

прилагаю еще стихов. пытаюсь собрать себе целый арсенал, и я взорву весь мир своими стихами. ну.

[Дейвиду Эваниеру]

Конец 1972 г.

[...] Мне никогда особо не нравилось писать, творить, я имею в виду то, что делали другие ребята. мне это казалось довольно хилым и

претенцивным, до сих пор так кажется. Я не бросал писать не потому, что был так уж хорош, а поскольку считал, что все они плохи, включая Шекспира, все вот эти вот. напыщенный формализм, как будто картон жуешь. мне было не очень хорошо, в мои 16, 17, 18, я заходил в библиотеки, и там было нечего читать. обыскивал все залы, все книги. когда выходил обратно на улицу и видел первое лицо, здания, автомобили, что бы ни говорилось, не имело ничего общего с тем, что я видел у себя перед глазами, это было подражание, фарс. всё мимо. Хегель, Кант... какой-то ебучка по имени Андре Жид... имена, имена, и все пыжатася. Китс, что за мешок дерьма. все не туда. начал что-то различать в Шервуде Эндерсоне. Он почти добрался куда надо, он был неуклюж и глуп, *но* давал тебе заполнять пробелы. непростительно. Фолкнер был фуфло, как сальный воск. Хемингуэй приблизился рано, затем начал тряпать и вертеть эту большую машину, что все время пердела тебе в рожу. Селин написал одну бессмертную книгу, от которой я хохотал день и ночь («Путешествие»), затем свалился в мелочное домохозяйкино нытье. Сароян, он, как Хем, понимал важность корня и ясного слова, легкой и естественной строки, но Сароян, зная эту строку, пацан, он врал: он говорил: ПРЕКРАСНО, ПРЕКРАСНО, а оно не было ПРЕКРАСНО. я хотел слышать, что есть, все ссыкливые страхи, тревоги, безумие; нахуй величественную позу. нигде такого не мог найти. я бухал и трахался, сходил с ума в барах, бил окна, из меня вышибали все говно, жил. я не знал, что. до сих пор работаю. по-прежнему еще не ухватил, как надо. вероятно, и не ухватчу никогда. я даже люблю свое невежество. люблю свое ссыкливое, намащенное пузо невежества. вылизываю себе чертову душу языком моей пишущей машинки. я не вполне хочу искусства. я хочу развлечения, перво-наперво. я хочу забыть. Жужжанья хочу, какого-то крика среди бухих от вина канделябров. Хочу. В смысле, если мы сюда сумеем *встроить* какое-то искусство после того, как нас *заинтересует*, прекрасно. но давай без вот этой вот праведности, тра ля, тра ля.

[Стиву Ричмонду]

24 декабря 1972 г.

[...] у тебя есть право критиковать меня, и по большей части оно, вероятно, правильно, но вот одному тебе надо научиться, в конце концов, я чувствую, что творчество – это не фотография или даже не обязательно шаблонная истина. творчество несет в себе собственную истину или ложь, и только годы могут назвать, что есть что. люди вот чего не понимают – хотя что-то, как *кажется*, про них, оно не обязательно про них, это может быть часть их – тот миг – и толика всех людей, слепленная в то, что нужно сказать. я читал кое-какие стихи, про которые *казалось*, будто обо мне, меня называли Бреховским и другими именами, но я вынужден был смеяться, поскольку знал, что это не вся картинка.

Думаю, иногда мы можем стать слишком благонаравны и, следовательно, попасть в клетку.

Я верю, что однажды ты найдешь себе издателя, и, быть может, чем позднее он явится, тем лучше будет для тебя. меж тем, пожалуйста, не думай, будто тебя пыряют ножом. что бы ни было мне сказать тебе или о тебе или о ком угодно еще, никогда не будет тайным, оно всегда будет высказываться прямо.

у тебя есть право иногда унывать, я тебя не виню. но мне это пришлось нелегко и нелегко по-прежнему. как я говорю, давай уже РАБОТАТЬ. у тебя с избытком таланта и честности, я б не хотел быть тебе врагом, так не превращай меня в него.

1973

Буковски разгромил Крили в стихотворении под названием «О Крили», опубликованном в маленьком журнале в 1971 г.

[Майклу Андре]

6 марта 1973 г.

[...] я больше не ненавижу Крили. он прилежно работал над некой формой письма, которой я не понимаю. но он вложил в нее свою энергию и свою жизнь. тумакон он получит очень много. вероятно, уже получил их столько, что ему стало свойственно по их поводу раздражаться. человеку, в конце концов, надо как-то давать сдачи, или склизкие черви одолеют. я не собирался быть склизким червем против Крили. вел себя как дешевка. просто полез в бутылку, хорошенько его не изучив. это лишь шаблонный тумак (машинальный) против заправила или заправил или против лучей славы. дешевка, и мне следовало быть умнее. но я взрослою медленно, М. Если умру в 80, мне, вероятно, будет 14 лет. ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? ну ладно.

[Роберту Хеду и Дарлин Файф]

23 мая 1973 г.

Вот еще вам на рассмотрение. Слушайте, я понимаю, о чем вы, но «Заметки человеческого существа» просто как-то слишком манерно. «Заметки старого козла» снимает напряжение и позволяет мне высказать шире. Вероятно, в истории больше вреда причиняли те парни, кто считал, будто они человеческие, а не какие-нибудь еще существа. В смысле давайте держаться подальше от благочестия, и,

может, если нам немного повезет, мы и станем благочестивы. Потуги и приверженность, похоже, тут без толку.

Кроме того, добро и зло, правое и неправое постоянно меняются местами; это скорее погода, а не закон (нравственный). Я бы предпочел держаться погоды. Думаю, многим революционерам не удастся разобраться с моими работами: я больший революционер, чем они. Дело лишь в том, что их слишком многому учили. Первый процесс учения или творчества – разоблачение. Чтобы это удалось, гораздо проще быть старым козлом, а не человеческим существом, хорошо? прекрасно, как вы там сегодня?

[Дарлин Файф]

[Июнь?] 1973 г.

Да, беда с работой на првт-во или принятием гранта от првт-ва... беда с тем, чтобы оставаться в живых, хоть как-то, хоть ненадолго. Я слышал все доводы.

Я ненастоящий революционер. Я просто записываю слова. Но мысль сменить одно првт-во на другое мне едва ли кажется крупным выигрышем. начинать надо с отдельной личности. надо заменить личность, что у нас есть сейчас, на другой вид, либо, если этого мы не можем, все равно его надо немного залатать. и у меня нет готовых решений. только еще слова, быть может. слова, слова, слова, слова. нагнетание потока.

в одном все мы неудачники. в отношениях мужчины-женщины. я видел больше неверия и нехватки, и непоследовательности в этой области, чем в любой другой. люди попросту недостаточно велики, чтоб им друг до друга поистине было дело, и если мужчина и женщина друг друга отыскать не могут, как же им найти себе правительство?

ах ну что ж, птицы по-прежнему поют...

Хендерсону, учредителю издательства «Тачка» и в то время – помощнику редактора в издательстве «Даблдей» – так и не довелось опубликовать стихи Буковски.

[Уильяму Хендерсону]

2 июля 1973 г.

Конечно, хорошо, что вас может заинтересовать сборник моих стихов. Однако у меня текущий контракт с издательством «Черный воробей» и др., «ваши следующие 3 книги...» А Джон Мартин печет книжку за книжкой, и он со мной был очень честен и превосходен. Вообще-то самые недавние мои стихи только что были собраны и должны появиться осенью под заголовком «И в воде горит, и в огне тонет».

Опубликоваться в «Даблдей» тем не менее будет немалой честью, и Джон сказал, что ни за что не встанет на пути, если мне вдруг засветит что-то хорошее. Я ему верю. Он очень порядочный.

Я бы предложил вам издание избранных стихов. В смысле можем назвать его «Избранные стихи», но я все равно еще мог бы его как-то назвать? И я понимаю, что, если отправлю вам рукопись, это все равно будет считаться подачей на рассмотрение, и ваше святое право будет ее отклонить. Я знаю одного или двух писателей, кто неверно понимал устройство такой природы и чувствовал себя вычеркнутым и засунутым в задницу, потому что у них ничего не вышло. Я не таков. Со мной можете быть свободны.

У меня никогда еще не выходило «Избранных стихов», и мне бы хотелось подать вам лучшие свои стихотворения. Может оказаться совершенно турбина. А с другой стороны, опять же, может, выйдет и сплошь скука смертная. Вы тут редактор.

Впрочем, Мартин сейчас в отпуске, вернется только десятого июля, тому подобное. Мне придется попросить у него свободы, когда приедет. Вы читали мой роман «Почтамт»? ах, это вас не интересует? эх ну что ж, я понимаю.

Я живу в доме одной молодой дамы, и тут иногда бывают неприятности – она утверждает, это любовь, а я говорю, что любовь – это неприятности; так или иначе, оставляю ниже свой нынешний адрес, а также тот, где меня можно застать, если любовь вдруг вынудит меня скитаться и пропасть. Очень хорошо получить от вас весточку. да, да.

[Рошель Оуэнз]

8 сентября 1973 г.

Я видел ваше стихотворение обо мне в «Быке [без намордника]», и оно ничего, да. Я уже много лет как устал от поэзии, много веков, но писал ее и дальше, потому что другие делали это настолько плохо – лавандовые локоны на фоне луны – (такая вот театральная срань), и все равно я даже особо не задумываюсь о том, чтоб ее писать, но они по-прежнему пишут ее так плохо, поэтому я и наваливаюсь на нее, слова должны немного рвать бумагу, порождать звуки, быть попросту ясны и дерзки, и с юмором, и с самоубийством.

о, это уж больно праведно, но вы понимаете, о чем я.

теперь я лучше буду весь день барахтаться, я лишь барахтаюсь, а слова там вымалываются, и я мелю уже столько, но тут сейчас стены, и я надеюсь, удача не изменит мне, чтоб уже не приходилось и дальше молотить. По-моему, я заслужил себе лычки. По-моему, я заслужил себе ноги и глаза, и ленту для моей пишущей машинки. Давайте я их немного поимею.

Сейчас я пойду и съем гамбургер, и выкурю 3 или 4 сигареты. кто-то колотит на лестнице молотком. засранцы повсюду. обратите внимание, когда в следующий раз выйдете наружу.

вы написали вполне хороший прыгучий стих.

да, да.

Несколько читателей «Нола экспресса», включая поэта Клейтона Эшелмена, попросили редакторов Файф и Хеда прекратить печатать в издании рассказы Буковски.

[Дарлин Файф]

8 ноября 1973 г.

[...] Есть такие, кто считает, будто революция должна происходить только на улицах, а не в Искусстве. Пойми, любое движение вперед, в

Искусства, всегда (с исключениями) встречало насмешки, враждебность и ненависть. Изучение сексуальности или же любой области человеческой подвижности, записанное как стих, рассказ или роман, необязательно означает, что я потворствую действиям участвующих персонажей. Либо, с другой стороны, это может значить, что я потворствую действиям участвующих персонажей. Пока пишу, понятия не имею. Я чувствователь, а не мыслитель. Часто я бываю неправ, пишу много дряни, а по природе своей значительная часть моих работ есть азартная игра. Но все это позволяет мне приволье свободно пинаться – и высоко. Я не претендую на какую-то особую святость, и я уже и без того много сказал. Но если читатели «Нолы» хотят, чтоб я ушел, я уйду. Но не пойду к своему психиатру рассказывать про свои плохие сны, я вечером в следующую среду пойду на бега упряжек, выпью дешевого зеленого пива и поставлю на шестерку лошадей, ах, ляляля ляля ляляля ляляляля ля.

1975

Рассказ Буковски, проиллюстрированный Робертом Крамбом, в 1975 году был опубликован в «Аркаде, обзрении комиксов», соредактором которого был Гриффит.

[Биллу Гриффиту]

9 июня 1975 г.

Прости, что так долго не отвечал, но я расставался с этой женщиной, и у меня кишки наружу висят, все вот это вот. Пытаюсь склеить себя воедино, чтобы подготовиться от следующей войны. ну а тем временем писанина застопорилась со всем остальным, и у меня просто нет лишнего материала. Беда моя в том, что мне не отказывают. Бля, это ужас. Зато у Мартина целый конторский шкаф моей писанины, и, может, он что-то оттуда извлечет. Похоже, материала у него массы – вроде романов начатых и неоконченных, заметок из дурдома и трезвяка, тому подобное.

Крамб, как нам известно, И ЕСЬ КОМИКСЫ. как он рисует своих людей и как они шагают по странице, на этом держатся весь чудесный сок и сиянье. Я как-то с ним познакомился у Лайзы Уильямс, когда жил с нею, и никого естественнее в жизни я не встречал. Для меня будет наипочетнейшей волшебной вершиной, если он проиллюстрирует каких-нибудь моих ебанутых персонажей. Я очень надеюсь, что-нибудь получится, и мне жаль за свое нынешнее состояние мерзости и свисанья. Однако я пережил других женщин, пытавшихся прибить меня кнопками к кресту, и, вероятно, с этого тоже слезу.

1978

[Джону Мартину]

29 августа 1978 г.

Только что прочел твои письма в «Полынное [обозрение]», «Н[ью]-Й[оркский] Е[жеквартальник]» и мне. По-моему, ты слишком уж запарился на ровном месте. А кроме того, у меня такое чувство, что иногда, когда ты мне пишешь, ты держишь меня за какого-то идиота.

Давай проясним несколько пунктов по ходу их у тебя в письме. «Книги, что мы публикуем тут, на самом деле важная часть всей этой среды, и от них поступает твой настоящий доход».

Суть: мой доход от тебя – \$500 долларов в месяц, что составляет \$6500 в год. Из этого я плачу алименты на ребенка, а на них налоговая скидка не распространяется. Как большой мальчик твоего издательского дома я, вероятно, по уровню бедности внесен в списки, и мне полагаются талоны на питание, как было все эти годы. Конечно, тебе известно, что в прошлые годы я существовал и на меньше, гораздо меньше. На это я не жаловался, потому что чокнут достаточно, чтоб мне хотелось просто сидеть за печатной машинкой и писать. Но возражаю я тут вот против чего: что ты мне рассказываешь, как хорошо все удается «Воробью» и Буку вместе. Не такое уж это и процветание и никогда им не было – для *меня*. Тут я больше говорю об экономике.

«Если б я не публиковал тут первым твои книги, не было бы ни немецких, ни французских переводов». Это мне сильно напоминает утверждение моего отца, когда я не захотел идти на Вторую мировую. «Но, сын мой, если б не война, я бы не встретился с твоей матерью, ты бы не родился». Это, мне кажется, не слишком хороший довод за войну. Твое утверждение – необязательно правда. Какие-то мои работы переводились и появлялись в иностранных изданиях, а в «Черном воробье» никогда не выходили. И кто знает? Кто-нибудь мог бы предложить и книжку перевести? Таково значение появлений в журналах. Думаю, *главная* причина того, что мои работы переводят, в

этом, пока что, пишу я достаточно крепко и достаточно интересно, чтобы это обеспечивать.

Марвин Мэлоун много лет у себя в журналах публиковал специальные издания и центральные развороты писателей. В прошлом он несколько раз и мне это устроил, и тебя это раньше никогда не тревожило.

А отсылка к «поводку» на шее Мэлоуна... боже мой, я тебя умоляю. Ты просишь, чтобы я не слишком вольничал, раздавая «большие куски работы, как с Мэлоуном». Джон, все писатели подают свои произведения в журналы, пока их пишут, поэты в особенности, романисты иногда, а сочинители рассказов и статей – постоянно. В этом процессе нет ничего преступного или дурацкого. Я отсылаю обширные области работы в «Полынное» и «НЙЕ», потому что это два лучших поэтических журнала из всех, какие есть. Я пишу в 5, 6, 7, нет, я бы сказал, в десять раз больше поэзии, чем средние ее сочинители. Если бы я разделил все стихи на маленькие порции по 4 или 5 и рассылал их по всем странам журнальчикам в Америке, мне бы не оставалось времени писать, я бы только клеивал конверты день и ночь. Думаю, ты становишься слишком уж собственником и очень подозрительным. В кустах там не так уж много кто таится – у тебя тысячи стихов на выбор, и они по-прежнему соскакивают с этой печатки как ненормальные.

Затем в своем письме Мэлоуну ты просишь десять брошюр на продажу твоим клиентам. Не думаю, что он так уж хорошо на это отзовется. Ты как будто ищешь край, за что зацепиться. Скажем, как с 75 (на самом деле 150) рисунками, что я сделаю к каждой книжке. У меня это займет месяц, и за это время я не смогу больше делать *ничего* творческого. Ты продашь эти 75 книжек (подписанных) за \$2625, что, если вычесть из моего жалованья в \$6500, оставит тебе для выплаты мне лишь \$3875. У тебя прямо потогонная мастерская. А однажды по телефону ты мне сказал: «Подумай только, за каждый свой рисунок ты получишь \$35». Вот тогда-то я впервые и подумал: этот человек и впрямь считает меня идиотом.

«Дай мне выпускать книги».

Ты их и так выпускаешь, Джон. Но часто при этом ведешь себя как ревнивая девица.

Я помню задуманную книжку писем Буковски-Ричмонда. С ней ты сошел с ума. А Ричмонд еще пуще.

Что же касается «весь фокус в том, чтобы стать таким большим, чтоб работа твоя расходилась и читалась пристойным количеством людей, однако оставаться при этом таким маленьким, чтобы Служба внутреннего налогообложения не явилась и не потребовала отчитаться за каждый пенни с 1971 года».

Джон, если это случится, мне волноваться не о чем. Я помню, раз, когда контора у тебя еще была в Л.-А., я зашел кое-какие книжки подписать, и ты сказал, не успел я порог переступить: «Вот идет великий человек, вот идет великий писатель». Ладно. Твоему экспедитору я пива тогда принес. Потом мы начали разговаривать вокруг да около, и твой экспедитор взялся тебе как-то дерзить, а ты повернулся ко мне и сказал: «Погляди только на этого экспедитора за \$90 в неделю – пытается со мною умничать». На мой слух прозвучало некисло, потому что ты мне тогда платил между \$250 и \$300 в месяц, забыл сколько. А он даже не знаменитый экспедитор был.

Я с тобой застрял. Мне делали предложения нью-йоркские издатели. Мне делали предложения конкуренты. Я остаюсь с тобой. Люди говорили мне, что я глуп, многие люди. Мне это как с гуся вода. Я сам себе все решаю, причины у меня свои. Ты был рядом, когда никого больше не было, ты помогал мне добыть деньги через архивы. Ты мне купил хорошую печатную машинку. Никто ко мне в двери не стучался. Я храню верность. Наверно, у меня это в немецкой крови. Но я прошу тебя оставить мне рассудок ясным для письма; я хочу только печатать и пить вино, и делать какие-нибудь мелочи. Такие письма, как это, – трата энергии. Просто дай мне писать и рассылать почтой мою срань, как любому другому писателю. Не будь чересчур насадкой. В этом году мне свезло с несколькими хорошими стихами, довольно много. Я рад, что они до сих пор поступают и роятся повсюду. «Женщины» – мое лучшее произведение. Оно вызовет много ненависти, много откликов, как всегда делало любое превосходное оригинальное произведение искусства. Прекрасно. И нам с этой работой в Европе все должно удалиться лучше, чем с любой другой. Но я хочу продолжать, хочу писать и не бросать выступленья. Мне только хотелось бы, чтоб ты не всегда относился ко мне как к полному идиоту. *Я в курсе, что происходит.* Потому-то способен записать это на бумаге.

Ты – как кто угодно другой мой знакомый у меня в личной жизни. У людей есть склонность наставлять меня, водить за нос. Время от

времени приходится цапать их за руку. Мой старый черный кот Мужик так иногда поступает. Я все больше и больше его понимаю. Будем надеяться, что и ты меня понял. До 80 еще далеко, если доживу, так давай же расчистим дорогу, чтоб на пути не было никакой срани. Я хочу прийти к тебе на похороны, чтобы пролить там слезу и бросить букетик цветов. Лады?

1979

[Карлу Вайсснеру]

15 января 1979 г.

Надеюсь, ты еще не начал переводить «Женщин». Мы с Джоном Мартином ими занимаемся – я утверждаю, что он вставил в роман слишком много *своей* писанины. Некоторые страницы прилагаются для иллюстрации. У меня отксерован первоначальный текст, и я его вскоре тебе вышлю. Джон утверждает, что я прислал больше 100 страниц исправлений первоначального текста. Когда я их от него получу, перешлю тебе. Мне правда кажется, что он чересчур изменил то, что у меня написано, иногда каждую вторую фразу. Это неуважение ко мне. Мне наплевать на мелкие поправки грамматики и выправление прошлого и настоящего времени, но когда переоббивают слишком много фраз, это нарушает естественный поток моего письма. Пишу я иззубренно и жестко, я хочу, чтоб оно таким и *осталось*, я не хочу, чтоб *выглаживали*. К тому же вычеркнуты большие куски романа. Когда получишь общую рукопись, сможешь выбрать, что оставить, а что нет. Тем самым твой выбор сужается; я про то, как роман читается сейчас.

Джон уверяет в своей невинности и намерен приехать, и мы с ним все это прочедем. Он мне сказал, что машинистка иногда устает и что-нибудь добавляет. Машинистка у него, должно быть, весь роман усталая была.

Так или иначе, прилагаю *мелкие* поправки, которых не было в первоначальном тексте, что у меня на руках. Надеюсь, переводить ты еще не начал. Я спросил у Джона: «А с Уильямом Фолкнером ты бы так же поступил?» И он уж точно не стал бы делать этого с преподавателем колледжа, уж *всяко* не с Крили, даже запятой. Наверно, все дело в том, что я из низов рабочего класса, из страны бродяжии, а оттого он считает, что я не вполне соображаю, что делаю. Но *инстинктивно* я соображаю, и ему это следует понимать. Можешь вообразить, как он подправляет Ван Гона? Ну, бля...

Мы с Линдой Ли передаем приветы любви тебе, и Майки, и Вальтрауту.

p. s. – Интересно, что подумают французики с итальянцами? Похоже, мне придется рассылать им копии первоначального текста плюс 100 страниц поправок. Теперь это хороший роман, но я чувствую, что он был бы великим романом и диким романом, если б в него не насовали плохой писанины, а другие части не повычеркивали. Вместо того чтобы века получили что-то великое, им достается эта разбодяженная и истоптанная версия...

[Джону Фанте]

31 января 1979 г.

Спасибо за хорошее письмо. Очень причудливое, очень странное это чувство – получить письмо от вас. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как я впервые прочел «Спроси у праха». Мартин прислал мне ксерокопию романа, и я начинаю его заново, и читается он, как обычно, хорошо. Вместе с «Преступлением и наказанием» Доса и «Путешествием» Селина это мой любимый роман. Простите, что не ответил вам раньше, но сейчас у меня много всего: сценарий, исправление чьего-то другого сценария, рассказ, а также пьянство и игра на лошадаках, и ссоры с подругой, и поездки к дочери, а потом мне плохо, а потом хорошо, и все остальное. Потом я потерял ваше письмо, а я им так гордился, и вчера вечером я его нашел, я на обороте конверта предлагал какие-то поправки к сценарию этого парня (и экранизации моего первого романа «Почтамт»). И вот идет дождь, а я пишу вам быстро, потому что хочу еще успеть в банк обналичить чек, чтобы завтра попасть на бега.

Ваши произведения помогли мне в жизни, дали подлинную надежду на то, что человек может просто записывать слова, и пусть эмоции выезжают сами. Никто этого не делал лучше вашего. Я собираюсь читать книгу медленно, снова ею насладиться и надеяться, что смогу написать разумное предисловие. У [Г. Л.] Менкена был хороший глаз, среди прочего, и я думаю, что пора такому таланту, как ваш, вновь вынырнуть на поверхность, хоть «Черный воробей» и не

Нью-Йорк, у него есть какой-никакой престиж и бахбах, а такие книги скорее продержатся долго, и их будут читать другие люди, а не широкая публика, которая просто жрет то, что им скармливают Нью-Йорк.

Здорово получить от вас весточку, Фанте, вы всю дорогу – номер первый. Простите за небрежную печать. Закончив книгу и написав предисловие, я отправлю вам его почтой на одобрение, надеюсь. Всего наилучшего жене и сыну. Небо сегодня влажное, и завтра на бегах будет грязно, но я стану думать про вас и о том, как мне повезло, что у меня есть возможность рассказать людям, чем «Спроси у праха» так хорош. Спасибо вам, да, да, да...

[Карлу Вайсснеру]

6 февраля 1979 г.

[...] про «Женщин», 100 страниц поправок где-то потерялись. Некоторые, очевидно, все-таки внесены... например, в конце я придал коту черную шерсть и желтые глаза... Так или иначе, это вполне себе бардак, и мне кажется, Джон Мартин попросту как-то спятил. Мне кажется, это довольно позорно – вписывать туда его «писанину» в смысле. Наверно, мы все время от времени сходим с ума. Так или иначе, 2-е издание будет читаться лучше. Наверно, когда люди сравнят 2 издания, подлинной истории не узнают никогда. Скорей станут думать, что я в старческом маразме и кто-то другой взял и все за меня поменял. Принять это довольно круто, потому что я не против, если меня критикуют за то, что написал я сам, но так подставляться ради кого-то другого нехорошо. Во всяком случае, в будущей работе мне придется следить за Джоном пристальней. Сомневаюсь, что он мне опять пиздец устроит. Иногда от каких-то поступков и методов Мартина меня довольно-таки тошнит. Хорошо б ты был моим чертовым редактором, но благодаренье богам, по крайней мере, ты мне переводчик, агент и друг. (о да, Джон на самом деле сказал: «Иногда машинистке скучно, и она что-нибудь вставляет»). Интересно, Фолкнера и Дж. Джойса такое доставало?) [...]

Я сейчас занят киносценарием [«Пьяни»] с Барбе [Шрёдером], 30 или около страниц; но меня удивляет – он хочет *сюжет* и развитие

характера. бля, мои персонажи редко развиваются, они слишком ебнуты. даже печатать не могут. Мне нравится отпускать все на волю, и бывает так, что и объяснять про них нечего, у них сплошь зазубренные края чего-то. Я не против пары намеков на то, каким должно быть кино, но когда кто-то начинает дергать моих кукол за ниточки, те часто забывают танцевать, забывают, как вообще что-то делать. ах что ж, ах что ж.

[Джону Фанте]

2 декабря 1979 г.

Хорошо было услышать окончание вашего романа по телефону; это снова Фанте от и до, высшего качества, единственного качества, как всегда. У меня внутри все чертовски воспрянуло – знать, что вы до сих пор это делаете. Вы были с самого начала моим главным зарядом и вот снова заряжаете меня после стольких лет.

У меня случился бессильный период, а таких бывает немного. Не хочу сказать, что всегда пишу исключительно, я о том, что мне всегда писалось. А недавно прекратило. Ну, несколько стихов как-то ночью, но все уже как-то не так. Ловлю себя на том, что рывкаю на Линду, а как-то вечером даже пнул кошку. Мне не нравится вести себя, как маленькая прима д., но похоже на то, что, если из меня не прет, я отравляюсь, забываю, как смеяться, понимаю, что больше не слушаю свою симфоническую музыку по радио, а когда гляжу в зеркало, вижу там очень мерзкого человека, крохотные глазки, желтая рожа – я какой-то съезженный, бесполезный, сухая фиговина. В смысле, когда письмо уходит, что там вообще, что остается? Рутинка. Рутинные движения. Мысли-олады. Я не могу с этим постылым танцем.

Услышать что-то от вас, когда Джойс прочла мне конец вашего романа, услышать напевность мужества и страсти Фанте – это выпнуло меня из моей мертвятины. Вино откупорено и радио включено, и я заправлю несколько листов в машинку, и все придет снова, из-за вас. Придет из-за Селина, и Доса, и Гамсуна, но главное – из-за вас. Не знаю, где вы это берете, но боги вас точно им набили. Вы значили и по правде значите для меня больше любого человека, живого или

мертвого. Я должен был вам это сказать. Вот я начинаю чуточку улыбаться. Спасибо вам, Артуро [Бандини].

1980

[Джону Мартину]

[Июнь?] 1980 г.

[...] Генри Миллер. Я немного чего почувствовал, когда он ушел, потому что ожидал этого. Понравилось мне то, что, когда он уходил, он обратился к живописи, и то, что я видел у него, – очень хорошо, тепло, жаркий цвет. Немного таких жизней, как у него. В письме своем он сделал это, вот так, когда никто больше не проходил этого, не проделывал. Он расколол твердый черный грецкий орех. Мне всегда было непросто его читать, потому что он съезжал в этот спермодрочковый лепет «звезднопутевого» созерцанья, но хорошие части от этого делались только лучше, когда до них наконец добирался, однако честно – я по большей части сдавался. Лоренс был другой, он был крепок всю дорогу, а вот Миллер был современной, не такой вычурный, пока не пускался в звезднопутевый лепет. Думаю, беда, что Миллер накликал (и он в этом не виноват), в том, что, когда подторговывал и навязывал свою писанину (поначалу), он заставлял других думать, что так оно и делается, поэтому теперь у нас эти батальоны полуписателей стучатся в двери, и торгуют, и объявляют, что они гении, поскольку их «не открыли», а сам факт их неоткрытия убеждает их в собственной гениальности, потому что «мир к ним еще не готов».

К большинству их мир никогда готов не будет; писать они не умеют, их просто не коснулась благодать слова или пути. Тех, кого я встречал или читал, во всяком случае. Надеюсь, есть и другие. Они нужны нам. Тут все кругом изрядно не пахано. Но даже как у тех, кто бродит вокруг с гитарами, я обнаружил, что наименее талантливые вопят громче всего, больше всех бранятся и больше всех уверены в себе. Они спали у меня на кушетках, и блевали мне на коврики, и пили мою выпивку, и рассказывали мне, непрерывно, о своем величии. Я не издатель песен, или стихов, или романов и/или рассказов. У поля боя

есть адрес; выпрашивать у друзей, или подружек, или остальных – это мастурбация в небо. Да, я сегодня вечером пью слишком много вина и, наверное, голова у меня кружится от посетителей. Писатели, прошу вас, спасите меня от писателей; беседовать с блядьми с Альварадострит гораздо интересней, да и по́длиннее. [...]

Генри Миллер. Чертовски добрая душа. Ему нравился Селин, как Селин нравится мне. Я так и сказал Нили Черри: «вся тайна в его строке». И я имел в виду одну строку за раз. Строки, в которых фабрики, и башмак на боку валяется рядом с пивной банкой в гостиничном номере. Тут всё, оно вспыхивает туда-сюда. Они нас не побьют, даже в могилах. Шуточка-то наша; мы идем в высоком стиле; они с нами ничего сделать не могут.

[Майку Голду]

4 ноября 1980 г.

Я знаю еще одного редактора, который собирался выпустить целый номер «отказов», напечатать отвергнутый материал и мысли писателей об оном. Я ничего ему не отправлял, сказав, что мое отвергнутое и должно оставаться отвергнутым.

Номер так и не вышел. Полагаю, когда ред разложил перед собой отвергнутый материал и жалобы писателей, у него получился маленький дом ужасов вырождения.

Конечно, и в крупнотиражных журналах, и в маленьких печатается много плохого материала, и в книгах тоже. Плохие редакторы продолжают редактировать, а плохие писатели продолжают писать. Издание по большей части происходит через политику, друзей и природную глупость. А то небольшое хорошее письмо, что выходит, преимущественно случайно либо математическая редкость: когда хороший писатель сталкивается с хорошим редактором.

Поощрять плохих писателей продолжать писать, невзирая на отказы, не имеет значения: они все равно будут это делать. Маленькие журналы печатают около 15 % материала, который написан сносно; журналы покрупней – быть может, 20.

На поле маленьких журналов происходят печальные вещи. Я знал одного писателя, который писал для «малышей» относительно живо. Он публиковался тут и там, там и тут. Редакторы маленьких издательств выпустили 2 или 3 его брошюры, скажем, тиражами по 200. У этого писателя была жуткая работа, и каждый вечер он возвращался домой, все кишки проштампованы и болтались наружу, и все это записывал. Еще брошюра или 2, много появлений в «малышах» – стоило открыть журнал, и там было его имя. Он решил, что он писатель, отправился на запад с женой и детьми, жена устроилась на работу, а он сидел за печаткой и колотил по ней. В книжном шкафу у него было полно маленьких журналов и брошюр, и он устраивал поэтические читки для 9 или 11 человек, на которых передавали по кругу шляпу. Поэзия его постепенно смягчилась, но за спиной по-прежнему стоял книжный шкаф. Конечно, за электричество этим платить было нельзя, но, поскольку он гений, для этого у него была жена, оплачивать этот счет и все остальные, и квартплату, и так далее. Надеюсь, он снова устроился на работу. Может, его жене теперь пора сесть за печатку. Это один случай, но, полагаю, его можно умножить на 50 или 1000.

Сбивает с толку, что реальное, а что нереальное. Помню, когда мне было чуть за двадцать, я жил на один шоколадный батончик в день, чтоб у меня было время писать, я сочинял 5 или 6 рассказов в неделю, и все они возвращались. Но когда я читал «Нью-Йоркер», «Харперз», «Атлантик», я не мог обнаружить ничего, кроме литературы XIX века, тщательной и натянутой, нудно разработанной, дюйм за дюймом скука ползла по страницам, писатели с именами, мошенники, заставляли меня зевать до имбецильности. У меня было представление, что я довольно неплохой писатель, но точно было никак не выяснить, я писал с ошибками, и грамматика у меня дрянная (и до сих пор такова), но я чувствовал, что делаю что-то лучше их: я отлично голодал.

Если тебя не приняли, это необязательно значит, что ты гений. Может, ты просто скверно пишешь. Я знаю таких, кто сам себе публикует книги и указывает на 2 или 3 примера великих писателей прошлого, которые тоже так поступали. Ай. Еще они показывают на тех парней, кого при жизни не признавали (Ван Гог и ко.), а это значит, конечно, что... Ай.

Отказы больших журналов обычно отпечатаны и потому бездушны. Но я получал кое-что и от редакторов маленьких журналов,

считавших себя богами. Один такой помню: «И что вот эта срань за хуйня?» Без подписи, просто крупные чернильные каракули поперек страницы. Далеко не раз подобное. Откуда мне знать, что это не от какого-нибудь прыщавого 17-летки, зависшего на Китсе, кто взял в гараже выброшенный папин мимеограф? Я знаю: читай журнал. Но кому охота? Когда пишешь по 30 стихов в месяц, времени читать нету. А если есть время и какие-то деньги – бухаешь.

Очень преуспевающие писатели – как президенты: за них голосуют, потому что беснующаяся толпа узнает в них что-то свое.

Сбивает с толку, Майк, не знаю, что тебе сказать. Я готов пойти наружу и поставить на скакунов на короткую дистанцию.

1981

[Карлу Вайсснеру]

23 февраля 1981 г.

[...] Мне следует вернуться к рассказу после того, как закончу «Хлеб [с ветчиной]». «Ветчина» оказалась трудней и медленней, чем другие романы, потому что там, где мне не приходилось в других романах быть тщательней, здесь нужно. Это детство, дрянь со взрослением, нам почти всем было мучительно проходить через это, и есть склонность такое слишком раздувать. Я об этом этапе жизни читал очень мало литературы, от какой меня бы хоть немного не тошнило, – из-за ее манерности. Я пытаюсь хоть наудачу ввести ее в равновесие, как, может, ужасу безнадежности удастся создать легкий фоновый смех, даже если он из глотки дьявола. [...]

Читаю письма Хемингуэя. Жуткая дрянь. По крайней мере в ранних письмах. Он такой политик. Играет, встречается с властями предержажими. Ну, может, это нормально было? Тогда не было столько писателей. Или журналов. Или книг. Или вещей. Теперь писателей сотни тысяч и тысячи литературных журналов, и много издателей, и много критиков, но главное – сотни тысяч писателей. Скажем, вызываешь нынче слесаря. Он приходит со своим разводным ключом в одной руке, вантузом в другой и с маленькой брошюрой своих избранных мадригалов в каком-нибудь кармане на жопе. Даже кенгуру в зоопарке увидишь – он тебя всего оглядит, а потом из сумки пачки стишков достанет, отпечатанных на машинке, через один интервал, на водостойкой 8 с половиной на одиннадцать.

Премьера обсуждаемой ниже пьесы под названием «Буковски, мы тебя любим» состоялась в Риме в 1981 году. Галиано выступил продюсером фильма «Storie di ordinaria follia» («Истории обыкновенного безумия»), поставленного режиссером Марко Феррери в 1981 году.

[Джону Мартину]

24 февраля 1981 г.

Ты, вероятно, что-то получил от Сильвии Бицио насчет того, что они хотят права на половину всех книг Буковски от «Черного воробья» у тебя в арсенале, чтобы вставить их в чертову пьесу. Не предлагают никаких \$\$\$ и утверждают, что они маленькое некоммерческое подразделение, однако на самом деле намерены прокатывать эту штуку два года во множестве разных городов. Надеюсь, ты не одобрил, но если да... ну, они в непонятках насчет остального краденого, а это много рассказов из книжек «Городских огней».

Бицио постоянно меня достает, чтоб я отписал им эти права. Я дал ей интервью, а также разрешил немного поснимать на видео, как я разглагольствую о разнообразных пустяках. Но лично мне она не понравилась, как и ее подходы. Она, очевидно, крышует этих жуликов, и я ей сказал, что не хочу иметь никаких дел со всей этой тусовкой.

«Но они же готовили это два года!»

«Они вас любят!»

«Они желают оплатить вам дорогу, чтоб вы приехали и посмотрели их пьесу».

Я ей сказал: «Херня это! Почему они не попробовали получить разрешение до того, как начали?»

Не нравятся мне итальянцы, они пронырливые, меня тошнит от того, как они все делают. Как они могут просто украсть мою работу и выставить ее на сцену, не спросив? [Серджо] Галиано пытается сделать кино из некоторых тех же рассказов. Если он заплатит, где они слезут?

И вот еще одна незадача, Галиано. Должен был заплатить \$44,000, прислал только \$4000 и утверждает, что остальные деньги отправлены телеграфом месяц назад. Сплошные враки. И он сейчас в Джорджии с Беном Гэззарой, снимает фильмы. Итальянцы... Хитлер им тоже не доверял, и я понимаю почему, – они скользят, лгут и надувают.

Уверен, такое же было и с другими писателями. Писателя воспринимают лишь как парня, который кладет слова на бумагу. Он легкая добыча. Он думает лишь о следующей строке и не хочет, чтоб его беспокоили внешние обстоятельства, которые не совпадают с его

состоянницей настроения. Что правда, но ему так же не нравится, когда его насилуют.

Сволочи уже знают, сколько стоит судебное разбирательство и что они могут сбежать и спрятаться в какой-нибудь итальянской деревушке, а нам показать большую дулю.

Ах ладно, Джон, прилагаю пару стишков.

1982

[Джону Мартину]

3 января 1982 г.

Ну вот, вся эта липовая срань их уже снова позади, и, пока они предаются своей скучной нормальности, можно приступить.

Писать никогда не было для меня работой, и, даже когда все выходит плохо, мне нравится действие, звук печатки, путь впереди. И даже когда я пишу плохо и оно ко мне возвращается, я на него смотрю и не сильно-то против: у меня есть возможность все улучшить. Дело там в том, чтобы не бросать, стучать себе дальше, а оно, кажется, само залатывается; ошибки и удача, пока не зазвучит, не станет читаться и чувствоваться лучше. Не то чтоб это было важно или не важно. Просто тюк тюк тюк. Конечно, при печатании хорошо, если по ходу получается такое, что интересно сказать, а такие вещи не всякий день являются. Иногда приходится ждать пару дней. И нужно знать, что большие пацаны, кто занимался этим столетьями, на самом деле занимались этим не очень хорошо, хоть ты у них и списывал, не смог бы ни в каком начале без них ничего начать, обязанным там им быть не в чем. Поэтому – тюк тюк тюк...

Ну, я надеюсь, что мы с тобой еще немного продержимся. Это было волшебное путешествие, и ты занимался своим делом, а я своим, и хлопот между нами было очень немного. Думаю, мы оба с тобой из старой школы, где все делается неким определенным образом, и мы так это и делаем; что означает – мы смешиваем лучшее из современности с лучшим из прошлого, 30-х и 40-х, ну и, может, даже пика 20-х. Думаю, новым не хватает главного – величественного вечного стиля, метода подхода, метода сражаться с болью и успехом. У нас все довольно неплохо, Джон. Давай так и оставим. Близится одиннадцатый круг, и мне кажется, ебила на другом табурете уже утомился.

Рецензия Питера Шелдала на книгу «Болтаясь на турнефортии» появилась в «Книжном обозрении Нью-Йорк Таймс» в январе 1982 года.

[Карлу Вайсснеру]

13 февраля 1982 г.

[...] Мой критик из «Н.-Й. Таймс», вероятно, – достаточно приятный малый, умеет с языком, хорошо начитан, тому подобное. Хотя не думаю, что он когда-нибудь пропускал трапезу, или ломал ногу, или на него шлюха ссала, или он когда-либо ночевал на скамейке в парке, и так далее. Не то чтоб такое было обязательно, оно просто бывает, но когда бывает, склонен мыслить несколько иначе. Мне самому «Болтаясь» нравится. Думаю, ощущение СЛОВА у меня все лучше и лучше после стольких лет, за которые удалось не слишком растерять безумие. «Хлеб с ветчиной» мне нравится больше всего. Мартин утверждает, что лучше я ничего не написал. «В ней все кишки и грубый помол русских мастеров XIX века». Ну, это было б мило. Мне те ребятки нравились по-настоящему. Они могли брести сквозь гнетущие мученья, как бы посмеиваясь уголками ртов.

[Джеку Стивенсону]

Март 1982 г.

[...] Большинство начинает одинаково. Поэты в смысле. Ничего так они начинают. Они в одиночестве и набрасываются на слова потому, что более или менее перепуганы до потери рассудка, они, видишь ли, невинны. В начале от них хоть какое-то дуновение. У них начинает получаться. Дают все больше и больше читок, встречаются с другими соплеменниками. Друг с другом разговаривают. Им начинает казаться, что у них есть мозги. Произносят заявления о правительстве, душе, гомосексуальности, органическом огородничестве... тому подобное... Они знают про все, кроме сантехники, а надо бы, потому

что они ее загружают говном. Очень обескураживает, на самом деле, видеть, как они развиваются. Поездки в Индию, дыхательные упражнения – они улучшают себе легкие, чтоб можно было больше трепаться. Вскоре они уже *учителя*, стоят перед другими людьми и рассказывают им, *как надо делать*. Не просто как *писать*, а как *делать всё*. Их засасывает в любую подвернувшуюся ловушку. Эти некогда сравнительно оригинальные души чаще всего становятся той же штукой или штуками, против которых они сражались с самого начала. И видел бы ты, как они читают: они это дело ОБОЖАЮТ, публику, студенточек, мальчонок, все это сборище идиотов, что посещает поэтические читки, – мороженые сопли людей с желейнными жопками и китайской лапшой вместо мозгов (мягкой). Как же они любят читать, эти поэты. Как любят, когда голоса их парят. «Итак, – говорят они, – сейчас я прочту лишь еще 3 стихотворения!» Типа, в смысле, какого черта, кого это интересует? И, конечно, эти 3 стишка – длинные. Я не обобщаю: один в этом смысле тут совершенно похож на другого. Есть мелкие различия: кто-то черный, кто-то гомик. Некоторые черные и гомики. Но все они скучны. А я нацист. Еще бы. Отзовите меня.

В моем представлении писатель – тот, кто пишет. Кто сидит за пишущей машинкой и укладывает слова. Это, похоже, и будет самая суть. Не учить других, как, не сидеть на семинарах, не читать беснующейся толпе. Почему эти вот такие экстраверты? Хотел бы я стать актером – попробовался бы перед камерами Голливуда. Из полусотни писателей, которых я так или иначе встречал, лишь двое мне показались хоть в малейшей степени людьми. С одним я встречался 3 или 4 раза – он слепой, обе ноги ампутированы, 72 года, он продолжает писать и, ну, диктовать своей чудесной жене, пока лежит на смертном одре. Второй – чокнутый и естественный, печатает свою писанину в Маннхайме, Германия.

А иначе писатель – последний, с кем мне захочется выпивать или кого слушать. Я больше крепкой жизни видал в старых газетчиках, в уборщиках, в том пацане, что обслуживает окошко в круглосуточном ларьке с тако. Мне кажется, что письмо притягивает худшее, не лучшее, мне кажется, что печатные прессы всего мира лишь бесконечно прессуют пульпу недостаточных душ, которую недостаточные критики именуют литературой, поэзией, прозой. Это бесполезно, если не

считать, может, той единственной яркой искры, что удерживается редко, умеет это.

Почав 2-ю бутылку вина и оглядываясь на это письмо, я отмечу, что, если вообще это когда-нибудь увидят, сошлутся на то, что Буковски помянул Черных и Гомосексуалистов, будто у него к ним отвращение. Следовательно, давай упомяну: женщины, мексиканцы, лесбиянки, евреи.

Давай заявлю: отвращение у меня к Человечеству, а особенно – к творческому писателю. Дело не только в эпохе Водородного страшного суда, это еще и эпоха Страха, Невообразимого Страха.

Белыш мне тоже не нравится. Я сам Белыш. Что мне нравится? Вот починать эту 2-ю бутылку вина нравится. Надо зачистить денек. Сегодня проиграл на бегах десять долларов. Что за бесполезность. Как дробить в горку каплющих горячих пирожков.

Меня всегда довольно-таки восхищали китайцы. Наверно, потому, что большинство их так далеко.

Рассказ «Хряк» не опубликован до сих пор.

[Карлу Вайсснеру]

29 мая 1982 г.

За «Хлеб с ветчиной» было трудно сесть, записать первое слово. Потом стало полегче. Думаю, для того чтоб получилось, у меня набралась дистанция. Прежде чем начать, я думал об этом месяц или около того. В конце концов, кому охота читать всякую дрянь о детстве? Она вытаскивает наружу худшие виды письма.

Я надеялся втащить внутрь чувство смешного и какой-то юмор.

Родители у меня были странные. О да. В книге этого нет, но однажды я вернулся с бичарни и весил 139 фунтов, так они взяли с меня за комнату, стол и стирку. Может, в «Мастака» это вставил. Не помню.

Теперь я опять играю со стихами. Хотя «Ловчила» недавно попросил у меня рассказ, поэтому я сел и настукал им песенку под названием «Хряк». Мне понравился их отказ: «...сюжетный материал

попросту слишком силен для нас. А особенно – скотоложество и также его жестокий результат, которые, чувствуем мы, принять не можем».

Поэтому я пнул его в немецкий «Плейбой». От него они наверняка высрут сырой *wiener schnitzel*, но я рассчитываю получить его назад.

1983

[Лоссу Пекуэньо Глэйзеру]

16 февраля 1983 г.

Точно я не знаю, как оно получается. В том смысле, что не пишу сейчас намного лучше, чем десятки лет назад, когда умирал от голода в маленьких комнатухах, и на парковых скамейках, и в ночлежках, и пока меня чуть не убивали на фабриках и на почтамте. Тут как-то действует живучесть: я пережил многих редакторов, отказывавших мне, да и некоторых женщин тоже. Письмо мое теперь отличается лишь тем, что оно меня больше развлекает. Однако все происходит очень быстро – вот ты пьяный бич, который дерется с пьяными, удалбанными и безумными женщинами в низкосортных квартирах, а потом сразу, кажется, ты уже в Европе иходишь в зал, а там тебя ждет 2000 человек, чтоб ты им стихов почитал. И тебе уже 60 лет...

Я теперь приближаюсь к 63, и мне больше не нужно устраивать читки, чтобы добыть себе вина и квартплату. Если б я хотел стать актером, я бы им стал. Принимать позы перед толпой не входит в мои представления о том, как нужно кончать. Мне поступают предложения. Недавно вот услышал от одного приятного малого, который к тому же писал мне в прошлом году: «...некоторые из принявших – Джон Апдайк, Чеслав Милош, Стивен Спендер, Эдмунд Уайт, Джонатан Миллер, Дик Кэвитт и Уэнделл Берри. Поэтому, как видишь, ты окажешься в хорошей компании...»

Я ответил ему, нет. Хотя «гонорар» предлагался обильный.

Зачем этим людям обязательно это делать?

Ну, так или иначе, я вот что пытаюсь тут сказать: достаток денег в данный момент позволяет мне жить в маленьком городке Сан-Педро, где люди вполне нормальны и легки, и скучны, и хороши, и где-то вокруг найти писателя, или художника, или актера будет трудновато. Вот где я могу теперь жить со своими 3 кошками и почти каждый вечер пить и печатать до 2 или 3 часов ночи. А на следующий день бега.

Больше ничего мне не нужно. А беды тебя (меня) всегда отыщут. По-прежнему хорошие и несчастные мгновенья с женщиной. Но мне нравится расклад. Я рад, что я – не Норман Мейлер, или Капоте, или Видал, или Гинзбёрг, читающий со «Стычкой», и я рад, что я не «Стычка».

Я вот к чему: когда к тебе подваливает Удача, не позволяй ей тебя Поглотить. Стать знаменитым, когда тебе около двадцати, – это очень трудно преодолеть. Когда становишься полужнаменитым, когда тебе за 60, приспособливаться легче. Старина Эз Паунд говаривал: «Работу делай». И я в точности понимал, о чем он. Хотя для меня писать – никогда не работа, все равно что пить. И я, конечно, сейчас пью, и потому если вдруг тут что-то немного запутается, что ж, таков мой стиль.

Не знаю, знаешь. Взять вот некоторых поэтов. Какие-то начинают очень хорошо. В том, как они это записывают, есть вспышка, зажигание, азарт. Хорошая первая или вторая книжка, а потом они, похоже, как-то *растворяются*. Озираешься, а они уже преподают ТВОРЧЕСКОЕ ПИСЬМО в каком-нибудь университете. Теперь они уже знают, как ПИСАТЬ, и намерены научить этому других. Это болезнь: они себя приняли. Невероятно, что они так могут. Как будто кто-нибудь приходит и рассказывает мне, как ебаться, поскольку он считает, что сам ебется хорошо.

Если и есть хорошие писатели, я не думаю, что они расхаживают, прогуливаются, болтают налево и направо, изобилуют и думают при этом: «Я писатель». Они живут потому, что больше нечего делать. Оно скапливается: ужасы и не-ужасы, и разговоры, спустившие колеса, и кошмары, вопли, хохоты и смерти, и долгие пробелы нуля, и все такое, оно начинает подбиваться, а потом они видят печатку и садятся. И оно выталкивается наружу, нет никакого плана, оно просто происходит: если им по-прежнему везет.

Нет никаких правил. Я больше не могу читать других писателей. Я одиночка. Но я заимствую у других в своих паузах нуля. Мне нравится хороший профессиональный футбольный матч, или боксерский поединок, или конский заезд, где все претенденты почти равны. Такие состязания часто выявляют чудо мужества, и мне становится от этого хорошо, если я это вижу, оно мне придает немного живости.

Одoleвать эту игру и при этом пить сильно помогает, хотя рекомендовал бы я такое немногим. Большинство моих знакомых пьянчуг вообще нисколько не интересны. Конечно, большинство трезвых людей – тоже нет.

О наркотиках, я их применял, конечно, только бросил. Трава уничтожает мотивацию, и от нее всегда запаздываешь, а идти при этом некуда. Я могу понять более тяжелые наркотики, за исключением кокса, который тебя никуда не заводит и даже не дает тебе понять, что ты там. Под «пониманием» тяжелых наркотиков я имею в виду, что способен понять тех, кто способен выбрать этот путь: первый яркий трип, а потом прочь. Скорей как развлекательное самоубийство, знаешь? Но я алкаш, такие дольше держатся, могут больше напечатать... Познакомиться с большим числом женщин, попасть в больше тюрем...

Про другое: да, я получаю от поклонников почту, не слишком много, 7 или 8 писем в неделю, рад, что я не Бёрт Рейнолдз, и я не могу на них все ответить, но временами отвечаю, особенно если письма эти из психушки, или тюрьмы, или, как один раз было, от мадам дома разврата и ее девушек. Не могу ничего поделаться с собой, мне нравится, что эти люди читали мои произведения. Я себе позволяю на миг хорошо по такому поводу себя чувствовать. Много писем я получаю от людей, которые говорят об одном и том же: «Если *вы* выкарабкались, может, и у меня есть шанс». Иными словами, они знают, что мне бывал довольно крутой пиздец, но я по-прежнему тут. Я не против, что они этим занимаются, лишь бы не колотили мне в дверь и не приходили лопотать о своих бедах за упаковкой 6-риков. Я тут не Людей спасаю, я тут спасаю собственный трусливый зад. И печатать слова, пока пью, похоже, не дает мне остановиться. ничего?

Я вовсе не так уж изолирован. Костыли у меня бывали: Ф. Дос, Тургенев, кое-что Селина, кое-что Гамсуна, почти весь Джон Фанте, очень много Шервуда Эндерсона, вся Карсон Маккаллере, стихи Джефферса, что подлиннее; Ницше и Шопенгауэр; стиль Сарояна вне содержания; Моцарт, Малер, Бах, Вагнер, Эрик Коутс; Мондриан; э. э. каммингс и бляди восточного Голливуда; Джек Николсон; Джеки Глисон; Чарли Чаплин, ранний; барон Манфред фон Рихтхофен; Лесли Говард; Бетти Дейвис; Макс Шмелинг; Хитлер... Д. Г. Лоренс, О. Хаксли и старый бармен с кадмиево-красным лицом в Филли... И была еще одна актриса, чье имя я сейчас никак не могу вспомнить, кого я

считаю и считал самой красивой женщиной нашего времени. Она спилась и умерла...

Я бываю романтичен, ну да. Однажды был знаком с этой девахой, отлично так она выглядела. Раньше была подружкой Э. Паунда. Он про нее говорит в некоторых строфах «Кантос». Ну, она как-то раз поехала повидаться с Джефферсом. Постучалась к нему. Может, хотела стать единственной женщиной на земле, которая ебла и Паунда, и Джефферса. Ну а Джефферс двери не открыл. Открыла старушенция. Тетушка, экономка, что-то, она удостоверения не показала. Эта красивая деваха говорит старушенции: «Я хочу видеть хозяина». «Минуточку», – сказала старушенция. Прошло какое-то время, и тут старушенция прошла, вышла и говорит: «Джефферз сказал, что он скалу себе возвел, ступайте возводите свою...» Мне понравилась эта история, потому что у меня в то время было много хлопот с красивыми женщинами. Но теперь я все чаще думаю, а может, старушенция с Джефферсом вовсе не разговаривала, просто постояла там где-то, а потом вернулась и засветила красотке этот разговор. Ну, мне она тоже не досталась, да и скалы я себе пока не возвел, хотя иногда, если вокруг нет ничего другого, она есть.

Я вот что пытаюсь тут сказать – что никто никогда не бывает знаменит или хорош, это вчерашний день. Может, тебе удастся стать знаменитым и хорошим, после того как помрешь, но пока ты жив, если что-то и засчитывается, то способен ли ты показывать в сумятице какое-то волшебство, это должно быть сегодня или завтра, а что ты *уже* совершил, не считается и говномешком, битком набитым отрезанными кроличьими жопками. Это не правило, это факт. И факт, что, когда мне в письмах присылают вопросы, я не могу на них отвечать. Иначе я бы преподавал курс ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА.

Я понимаю, что пьянею все больше, но ты тут получаешь то, что могло оказаться в скверном стишке. Я всегда помню, как читал критические статьи в «Кеньонском [обзрении]» и «Сеуани» в старину на парковых скамейках, и мне нравилось, как они там пользуются языком, хоть я и считал, что это липа, но липа в итоге все наши слова, точно, Трактирщик? Что мы тут можем? Не слишком много. Глядишь, повезет. Нам нужен ритм и мелкое ощущение развлеченья перед мигом, когда нас, застывших, отыщут в углу, бесполезных – согласно тем, кто остался. Мне бывает до ужаса грустно, что мы так ограничены. Но ты

прав, с чем тут сравнивать? Без толку это. Давай-ка выпьем. И еще выпьем... стараясь проковырять все это говно жестяной вилочкой.

[А. Д. Уайнанзу]

23 февраля 1983 г.

[...] Меня какое-то время назад пригласили в Наропу, не на штуку с Керуаком, а на 2 недели еботы, работы в смысле... Во-первых, я услышал об этом от какой-то поэтессы [Энн Уолдмен] и сказал ей «нет». Потом от Гинзбёрга, и мне пришлось сказать ему, что я таким просто не занимаюсь. Я большинству людей только одно мог сказать о письме: НЕ НАДО. И без того все уже загрязнено...

Битники мне никогда не нравились, слишком много у них саморекламы, а от наркотиков у них все херы стали деревянными, а сами они превратились в пиздюков. Я из старой школы, я верю в работу и жизнь в уединении; толпы ослабляют тебе намерение и оригинальность... Когда околачиваешься с писателями, не слышишь и не видишь ничего, кроме этого. Или, может, у меня природа такая – просто выкапывать все в одиночку. Мне хорошо, когда вокруг никого.

[Джеку Стивенсону]

5 марта 1983 г.

[...] Кафка, ты прав... Он там. Мне всегда нравилось его читать, когда меня тянуло покончить с собой, он меня, казалось, успокаивал, его письмо открывало темную дыру, и ты прямо в нее падал, он мог показать тебе маленькие странные фокусы, немного уводил тебя с улиц. Так же мне повезло и с Д. Х. Лоренсом, когда мне было дерьмово, я падал в его юркую извилистую писанину, и это было как из чертового округа уехать, а то и из всей страны. От Хемингуэя всегда такое чувство, что тебя надули, словно тебя обставили и обработали. Шервуд

Эндерсон был странная ебучка, и мне нравилось блуждать и в его сонных и странных скитаньях. Что ж...

Стихотворение с написанным неправильно словом, о котором говорит Буковски, – «ожидание рождества», опубликовано в «Дуй» в 1983 г.

[Джону Мартину]

3 октября 1983 г.

10-3-83

Привет, Джон
прилагаю новые стихи...

Кроме того, mimeографная поэтическая брошюра с несколькими моими стихами и милой рецензией на «Хлеб с ветчиной». Штука в том, если отправлял тебе эти стихи, см. первую страницу журнала 4-е слово первая строка должно читаться «бадьи». Слова «дабьи» не существует. Для протокола.

Надеюсь, «Музыка горячей воды» скоро поступит. Я уже понял, что печатники и переплетчики склонны устанавливать собственный темп. Вероятно, сродни тому, как заставить кровельщика прийти и починить протекающую крышу.



P.S. – Я буду скакать между романом, рассказом и стихом и не знаю, почему больше народу так не делает. Это как 3 женщин иметь – когда одна прокисает, пробуешь какую-нибудь из оставшихся.



Эй, детка!



У него
гарем!

1984

[Уильяму Пэкерду]

19 мая 1984 г.

Ну, раз ты спросил... иначе говорить о поэзии или нехватке оной – лишь сплошной «кислый виноград», фруктовое выражение отвращения, которым пользовались в старину. Довольно дрянная первая фраза, но я лишь один глоток вина пока сделал. Старина Ф. Н [ицше] правильно сказал, когда у него спросили (также в старину) о поэтах. «Поэты? – ответил он. – Поэты слишком много лгут». Это был *один* из их недостатков, и если нам поискать, что не так или не совсем так с современной поэзией, нам придется заглянуть и в прошлое. Знаешь, когда мальчишкам на школьном дворе не хочется читать стихи, даже смеяться над ними, смотреть на них как на девчачий спорт, они в этом не так уж не правы. Конечно, со временем меняется семантика, отчего прежние произведения становится трудней впитывать, но не это отпугивает мальчишек. Просто поэзия была неправильной, она была подделкой, не имела значения. Возьмем Шекспира: чтение его скучно до полного отупления. Он лишь время от времени как-то взбадривался, давал тебе яркую встряску, а затем вновь натужно полз к следующей точке. Поэты, которыми нас кормили, были бессмертны, но не были ни опасны, ни интересны. Мы их выплевывали и шли заниматься делами посерьезней: после школы бить друг другу рожи до крови. Всем известно, что если не залезть в юный ум пораньше, потом в него попасть дьявольски трудно. Люди, из которых получаются патриоты и верующие в бога, очень хорошо это сознают. Да, да, я знаю, был Ли Бо и кое-кто из ранних китайских поэтов, те могли в несколько простых строк упаковать большое чувство и великую истину. Есть, конечно, и другие исключения, человеческая раса не так уж хрома, чтобы не сделать несколько шагов. Но огромная груда, пульпа и связка всего этого предательски пуста, словно бы кто-то и впрямь сыграл с нами грязную шутку, даже хуже, а библиотеки – фарс.

И современные заимствуют у прошлого и только делят ошибку. Кое-кто утверждает, что поэзия – не для многих, а для немногих. Как и большинство мировых правительств. Как и богатеи, и так называемые благородные дамы. Как и специально обустроенные унитазаы.

Лучшее изучение поэзии – читать и забывать ее. Если стихотворение нельзя понять, не думаю, что это какое-то особое достоинство. Из-за того, что большинство поэтов пишет из своей защищенной жизни, то, что пишут они, ограничено. Я бы лучше поговорил с мусорщиком, слесарем или жарщиком в столовке, чем с поэтом. Они просто больше знают об обычных бедах и обычных радостях того, как оставаться в живых.

Поэзия *может* развлекать, ее могут писать с поразительной ясностью, я не знаю, отчего все должно быть иначе, но так оно и есть. Поэзия – это как сидеть в душной комнате с закрытыми окнами. И очень мало чего происходит такого, что впустило бы внутрь хоть какой-нибудь воздух, хоть какой-нибудь свет. Может статься, эта область попросту привлекает худших практиков. Кажется, будто называть себя «поэтом» так легко. Примешь эту позу, и делать нужно мало чего. Есть причина тому, что люди не читают поэзию. Она в том, что дрянь эта сделана плохо и вяло. Быть может, все энергичные творцы ушли в музыку, или прозу, или живопись, скульптуру? По крайней мере, время от времени в этих областях кто-то проламывается сквозь спертые стены.

Я держусь от поэтов подальше. Пока жил в трущобных комнатухах, с этим было трудней. Когда они меня отыскивали, они садились и сплетничали, и пили мое бухло. Кое-кто из тех поэтов были сравнительно хорошо известны. Но злоба их, их нытье и их зависть к любому другому поэту, кому хоть как-то повезло, были невероятны. Вот люди, которые вроде бы должны записывать слова силы, мудрости и изыскания, а они – просто больные засранцы, даже пить толком не умеют, слюни текут у них из уголков рта, они распускают нюни себе по рубашкам, балдеют от нескольких порций выпивки, блюют и гонят. Они клеветают примерно на всех, кого нет рядом, и лично я ничуть не сомневаюсь, что, когда они где-то еще, и до меня дойдет очередь. Никакой угрозы от них я не чувствовал. Имело значение лишь то, что оставалось после их ухода: их дешевый флер оседал под коврик, и на

оконные занавески, и повсюду вокруг, и порой миновал день-другой, покуда я опять не чувствовал себя нормально – то есть, ох батюшки:

«Он итальянский еврей-хуесос, а жена у него в дурке».

«Икс такой жмот, что, когда спускается с горки на машине, отключает двигатель и ставит на нейтралку».

«Игрек стащил штаны и умолял меня выебать его в жопу и попросил никому об этом не рассказывать».

«Будь я черным гомосексуалом, был бы знаменит. А так не потяну».

«Давай учредим журнал. У тебя деньги есть?»

А потом еще и читатели. Если ты занимаешься этим ради платы за жилье, нормально. Но слишком многие берутся за это из тщеславия. Читать они готовы бесплатно, и многие так и делают. Если б я хотел быть на сцене – стал бы актером. Кое-кому, кто заходил ко мне и сосал мое бухло, я выражал свое неудовольствие чтением стихов перед публикой. От этого смердит любовью к самому себе, говорил им я. Видел я, как эти пижоны вставляли и шепелявили свои жидкие стишата, все это так тупо и скучно, да и публика кажется такой же выдохшейся, что и чтец: сплошь мертвяки убивают мертвый вечер.

«О нет, Буковски, ты *не прав!* Раньше трубадуры, бывало, ходили по улицам, услаждая публику!»

«А разве исключается возможность, что они были плохи?»

«Эй, *чувак*, ты это о *чем?* Мадригалы! Песни сердца! Поэт – тот же самый! Нам *мало* поэтов! Нам нужно *больше* поэтов, на улицах, на вершинах гор, повсюду!»

Полагаю, за все это есть какое-то вознаграждение. После одной моей читки на юге, на вечеринке потóм, в доме у препода, который ее устроил, я стоял и пил чье-то чужое бухло, для разнообразия, и тут подходит этот препод.

«Ну, Буковски, ты какую хочешь?»

«Ты в смысле – женщину?»

«Да, южное гостеприимство, знаешь».

В комнате присутствовало, должно быть, от 15 до 20 женщин. Я огляделся и, чувствуя, что это хоть немного спасет мою чертову душу, выбрал старую, в коротком красном платье, она засвечивала много ноги, была вся измазана помадой и бухлом.

«Возьму вот эту Бабулю Моисей», – сказал ему я.

«Что? Без балды? Ну, она твоя...»

Не знаю как, но эта весть разнеслась. Бабуля разговаривала с каким-то парнем. Посмотрела на меня и улыбнулась, подмигнула. Я обмотаю этим красным платьем себе яйца.

Затем подошла рослая блондинка. У нее было лицо из слоновой кости, лепные черты, темно-зеленые глаза, ляжки, таинство, юность, ах, это вот все, знаешь, и она подошла и напучила огромные груди и сказала: «В смысле вы *это вот* собираетесь взять?»

«О да, мэм, я намерен вырезать свои инициалы на одной ее булочке».

«ДУРАК!» – плюнула она в меня и умелась разговаривать с молодым темноволосым студентом, у которого была нежная тонкая шейка, устало клонившаяся книзу от воображаемых мучений. Вероятно, она была ведущей ебательницей поэтов в том городке, а может, просто ведущей отсасывательницей у поэтов, а я ей испортил вечер. Иногда читки приносят доход, пусть за 500 и авиаперелет...

Что ведет к дальнейшему. В тот раз, со своей маленькой дорожной сумкой и все расширяющейся стопкой поезды, я повстречал и других своих соплеменников. Иногда они уезжали, как раз когда я приезжал, либо наоборот. Боже мой, выглядели они так же потрепанно, очумело и уныло, как и я. Отчего во мне поселилась какая-то надежда на них. Мы просто тут вкалываем, подумал я, это грязная работа, и все мы это знаем. Кое-кто из них писал такую поэзию, в которой были некоторый азарт и игра, вопил, казалось, в работе к чему-то шел. Я чувствовал, что все мы приторговываем своим дерьмом вопреки всему, стараемся не попадать на фабрики и автомойки, может, даже в психушки. Я знаю, что, пока мне не стало немного везти, я планировал попытаться грабить какие-нибудь банки. Уж лучше ебаться со старухой в красном платье... Но я это вот к чему: кое-кто из этих немногих начинали так хорошо... скажем, почти с таким же всплеском, как ранний Шапиро в «Букве В», а теперь я оглядываюсь, и все они всосаны, усвоены, присвоены, оскорблены, завоеваны и несут чепуху. Они преподают, они поэты-наставке. Носят славную одежду. Они спокойны. Но письмо у них – 4 спущенных колеса, в багажнике нет запаски, а в баке – горючки. ТЕПЕРЬ ОНИ ОБУЧАЮТ ПОЭЗИИ. ОНИ УЧАТ, КАК НАДО ПИСАТЬ ПОЭЗИЮ. Откуда у них эта мысль, что они вообще когда-то что-то про это знали? Вот что для меня загадка. Как им удалось так поумнеть так

быстро и так поглупеть так быстро? Куда они ходили? И почему? И зачем? Выносливость важнее истины, потому что без выносливости не может быть никакой истины. А истина означает доходить до конца всерьез. Так сама смерть, хватая, чуть промахивается.

Ну, я много уже наговорил. На слух – как те поэты, что приходили, бывало, и блевали мне на тахту. А мое слово – просто еще одна добавка к словам остальных. Просто чтоб ты знал – у меня новый котенок. Мальчик. Мне нужно имя. Для котенка в смысле. А хороших имен навалом. Как считаешь? Вроде Джефферз. Э. Э. Камминс. Оден. Стивен Спендер. Катулл. Ли Бо. Вийон. Неруда. Блейк. Конрад Эйкен. И есть еще Эзра. Лорка. Миллэй. Не знаю.

Ах, черт, может, просто назову сукина сына «Мордашкой Нелсоном», и баста.

[А. Д. Уайнанзу]

27 июня 1984 г.

[...] Думаю, со мной не случилось ничего лучшего: я так долго был как писатель неудачлив, и мне приходилось зарабатывать на жизнь, покуда не стукнуло 50. Это не подпускало меня к другим писателям и к их салонным играм, и к их ударам в спину, и к их нытью, а теперь, когда мне наконец как-то свезло, я по-прежнему намерен от них от всех отсутствовать.

Пусть продолжают свои нападки, а я буду работать и дальше, что делаю не ради бессмертия или даже мало-мальской славы. Я это делаю потому, что должен и буду. Почти все время мне хорошо, особенно когда я за этой машинкой, и слова чувствуются все больше и больше, выходят из нее все лучше и лучше. Правда или нет, правильно или неправильно, но я на это согласен.

[Карлу Вайсснеру]

2 августа 1984 г.

[...] Работа, которую ты для меня и «Воробья» за много лет сделал, твои переводы и твои усилия всегда добиться для нас наилучшего – наверняка среди самого замечательного из мне известного. Две постигшие меня в жизни удачи – это когда меня подобрал Мартин и когда ты решил стать моим переводчиком, агентом и другом. Потом еще я думаю о старине Джоне Уэббе, кто публиковал меня в своих великолепных изданиях, когда я был практически неизвестен. Есть волшебные люди на свете, и ты уж точно один из них. [...]

Тут, в общем, я получаю столько книжек переводов из стольких мест, что едва понимаю вообще, что происходит. В книжный шкаф они все не вмещаются. Они по всему ковру. В спальне нужен еще один книжный шкаф. Может, скоро. Все это очень странно. Думать, что люди во всех этих дальних краях сидят и читают «Женщин», «Мастака», «Юг без севера», «Хлеб с ветчиной» и так далее и тому подобное... Любовные письма от дам приходят из самых удаленных мест. Одна дама из Австралии прислала мне ключ от своего дома. Длинные письма от других. И тут, в С. Ш., мне поступают предложения девчонок от 19 до 21 приехать и повидаться со мной. Я им говорю, ничего не выйдет. Ничего не бывает бесплатно. У всего есть цена. Говорю, чтоб шли ебать какого-нибудь сверстника. [...]

Мартин натравил меня на картины для «Войны все время». Я пытаюсь ему сказать, что картины происходят из того же места, откуда и письмо, а я бы уж лучше писал. Не могу его в этом убедить. Поэтому расслаживаю тут бухой, давлю тюбики краски на бумагу и кладу их на пол, а по ним ходят коты. Я им не мешаю.

1985

Книгой, изъятой из Неймегенской библиотеки, были «Эрекции, эякуляции, эксгибиции и вообще истории обыкновенного безумия».

[Хансу ван ден Бруку]

22 января 1985 г.

Спасибо за письмо, в котором вы мне рассказываете об изъятии одной моей книги из Неймегенской библиотеки. О том, что ее обвиняют в дискриминации из-за черных людей, гомосексуалистов и женщин. И еще в садизме из-за садизма.

Я же боюсь дискриминации против юмора и правды.

Если я плохо пишу о черных, гомосексуалистах и женщинах, то лишь потому, что таковы те, с кем я встречался. «Плохого» много – плохие собаки, плохая цензура; есть даже «плохие» белые мужчины. Только когда пишешь о «плохих» белых мужчинах, они на это не жалуются. И нужно ли мне говорить, что существуют «хорошие» черные, «хорошие» гомосексуалисты и «хорошие» женщины?

Это моя работа как писателя, я лишь фотографирую, словами, то, что вижу. Если я пишу о «садизме», то потому, что он существует. Не его изобрел, и если в моем произведении случается какое-то ужасное действие, это потому, что такие вещи происходят у нас в жизни, я не стою на стороне зла, если такая штука, как зло, где-то и существует. Когда пишу, я не всегда согласен с тем, что происходит, да и не валяюсь в грязи лишь ради того, чтобы в ней поваляться. Кроме того, занимательно, что люди, бранящие мою работу, похоже, пропускают те ее части, что влекут за собой радость, любовь и надежду, а такие части там есть. Мои дни, мои года, моя жизнь видали и взлеты, и паденья, свет и тьму. Пиши я только и непрерывно про «свет» и никогда не упоминай о другом, как писатель я был бы лжец.

Цензура – орудие тех, кому необходимо прятать действительность от самих себя и от других. Их страх – лишь неспособность справиться с

тем, что реально, и я не могу на них злиться, мне лишь как-то отвратительно грустно. Где-то, пока воспитывали, их уберегали от тотальных фактов нашего существования. Их учили смотреть лишь в одну сторону, а существует множество сторон.

Меня не расстраивает, что одну мою книжку выследили и сняли с полка местной библиотеки. В каком-то смысле для меня это честь – я написал что-то такое, что пробудило их в их не-весомых глубинах. Но меня задевает, да, когда цензуре подвергают чью-нибудь еще книгу, потому что книга эта – обычно великая, а таких немного, и за века такая книга часто становится классикой, а то, что раньше считалось шокирующим и безнравственным, ныне программное чтение во многих наших университетах.

Я не утверждаю, что моя книга из таких, но говорю вот что: в наше время, в данный миг, когда любой миг может оказаться для большинства из нас последним, это чертовски раздражает и невозможно грустно – что среди нас по-прежнему есть мелкие обозленные людишки, охотники на ведьм и порицатели реальности. Да, они тоже к нам принадлежат, они часть целого, и если я про них пока не написал, то следует – вот, может, здесь и написал, и этого хватит.

пусть все мы вместе станем лучше.

[А. Д. Уайнанзу]

22 февраля 1985 г.

[...] О том, чтобы бросить работу в 50, я не знаю, что сказать. Свою мне пришлось. Все тело у меня болело, я рук больше поднять не мог. Если до меня кто-нибудь дотрагивался, от одного лишь этого касанья по мне всему бежали пены и прострелы мучений. Мне настал конец. Десятки лет меня колотили по телу и разуму. И у меня не было ни дайма за душой. Приходилось все пропивать, чтобы освободить ум от того, что происходило. Я решил, что уж лучше мне будет в трущобах. Я не шучу. Все подошло к шаткому концу. В мой последний день на работе какой-то парень отпустил замечание, когда я проходил мимо: «У этого старика кишка не тонка – бросать работу в *его*-то

возрасте». А я не чувствовал, что у меня есть возраст. Просто годы складывались и просирались.

Ага, я боялся. Боялся, что быть писателем у меня не получится, по деньгам. Квартплата, алименты ребенку. Еда – это не важно. Я просто пил и сидел за машинкой. Свой первый роман («Почтамт») я написал за 19 ночей. Пил пиво и скотч и сидел в одних трусах. Курил дешевые сигары и слушал радио. Я писал грязные рассказы для секс-журналов. На жилье этого хватало, а мягких и безопасных вынуждало говорить: Он ненавидит женщин. Мои налоговые декларации за те первые годы показывают до смешного мало заработанных денег, но как-то я все же существовал. Появились поэтические читки, и я их ненавидел, но там было больше \$\$\$\$. То был пьяный дикий туман времени, и мне как-то повезло. И я все писал, писал и писал, я любил колотьбу печатки. За каждый день я сражался. И мне свезло с хорошими хозяином и хозяйкой квартиры. Он считали, что я чокнутый. Я спускался и пил с ними через вечер. У них хлдлн был сплошь заставлен квартовыми бутылками «Пива восточной стороны». Мы пили прямо из кварт, одну за другой до 4 утра, пели песни 20-х и 30-х. «Ты чокнутый, – все твердила мне хозяйка, – такую хорошую работу на почте бросил». «А еще с этой ненормальной ходишь. Ты же знаешь, что она чокнутая, правда?» – говорил хозяин.

Кроме того, я получал десять дубов в неделю за свою колонку, «Заметки старого козла». И в смысле те десять дубов иногда выглядели крупной суммой.

Не знаю, А. Д., не совсем знаю, как мне удалось. Пить всегда было в жилу. В жилу и до сих пор. И, откровенно, я любил писать! ЗВУК ПЕЧАТКИ. Иногда я думаю, что хотелось мне только звука печатки. И выпивка тут же, пиво со скотчем, рядом с машинкой. И отыскивать сигарные окурки, старые, раскуривать их, пока пьяный, и обжигать себе нос. Дело не столько в том, что я ПЫТАЛСЯ быть писателем, скорее – делал то, от чего мне было хорошо.

Удача постепенно накапливалась, и я продолжал писать. Женщины становились моложе и требовательней. И некоторые писатели начали меня ненавидеть. Так и до сих пор, только больше. Это не важно. Важно то, что я не сдох на том почтарском табурете. Обеспеченность? Обеспеченность чем?

[Джону Мартину]

Июнь 1985 г.

Ты жизнь свою на этом сделал, публиковал в основном лишь то, что тебе хотелось, быть может, не столько в самом начале, когда был больше склонен прислушиваться к «литературным» голосам, которым хотелось подтолкнуть тебя к «престижу», но ты все больше и больше становился азартным игроком, таким, кто играет, но все равно скорее выигрывает – из стилия и знания, инстинкта. То, что продается, необязательно хорошо, а что не продается, на самом деле может быть плохо, а не недопонятой формой Искусства. В этой смеси всякого хватает. Чтобы вести хорошее представление, требуется Глаз, способный отличить хер от херни. Ты делаешь свою работу с такой энергией, от которой потрясаются вялые и апатичные желанья и грезы тех, кто считает, будто что-то может прийти без доброго боя.

Тебя полощут потому, что у тебя получается то, что не может получиться у них; зависть их выкована из их жалкой слабости. Ты же просто жмешь вперед, продолжаешь, пока они сетуют на свое кажущееся невезенье, что вызвано лишь вопиющей ленью и лакричным хребтом-тростиной.

Ты издатель, редактор, рецензент, инкассатор, рекламщик и еще бог знает кто, покуда слушаешь, как ноют и стонут по телефону так называемые Великие, жалуются на всевозможные пошлые вражды, трепетные грошковые хлопоты, что досаждают всякому человеку, но вот *они* ощущают особый облом, поскольку у них эта очень чувствительная и избранная, так называемая, богоданная, десятикратная гениальность.

Ты же, блядь, пашешь и делаешь это хорошо, очень хорошо, но меня тут беспокоит – даже если это не беспокоит тебя – то, что я считаю почти полным отсутствием признания того, что ты делаешь, сделал, продолжаешь делать, неуклонно и с силой. Осмелюсь сказать, ты опубликовал корпус литературы почти за три десятка лет, который высится непревзойденным в истории американского книгоиздания. Однако что о тебе говорят? Не то чтоб тебе это было нужно, это нужно лишь мне ради тебя. Я предпочитаю, чтобы Герои не проходили незамеченными.

Беда твоя в том, что, выполняя свою работу, ты пренебрегаешь временем ходить на коктейли и целовать в жопу прессу и университетских тварей, которые бы вознесли тебя в круг своей тупой и смерти-подобной известности.

Не беспокойся, скоро уже случится Бомба, а если и нет, останется свидетельство твоих достижений, «Черный воробей», глупый ты чудесный сукин сын.

Книги, о которых Буковски говорит ниже, – «Дорога на Лос-Анджелес» и «Вино юности», посмертно опубликованные «Черным воробьем» в 1985 году.

[Джойс Фанте]

18 декабря 1985 г.

Мне жаль, что вы спросили о книге Джона, а я сидел днями и некоторыми ночами и не знал, как вам ответить, и вот не могу этого сделать никак, кроме: мне она не понравилась, как и та, что за нею последовала.

Знаете, есть способ подмешивать к стилю злобу, а есть способ потакать озлобленности с юмором, но от обеих этих книг мне просто стало очень нехорошо. Яриться нормально, если для твоей ярости требуется мужество, но если там просто ярость ради ярости, что ж, в жизни у всех нас так делается каждый день, это происходит на автотрассах и в переулках наших уходов, возвращений и ожиданий.

Джон был для меня главным влиянием, вместе с Селином, Достоевским и Шервудом Эндерсоном, и он написал несколько самых прочувствованных и исполненных благодати книг нашего времени, но у меня такое чувство, будто эти позднейшие или ранние его работы лучше было б оставить неопубликованными. Могу, конечно, ошибаться. Я часто не прав.

То, что я смог повстречаться со своим героем (если простите мне это обозначение) под конец его жизни и при весьма мучительных обстоятельствах, было для меня и очень грустно, и очень здорово. И я

надеюсь, что те немногие слова, которыми мы перекинулись с Джоном, помогли ему посреди того кошмарнейшего ада.

Невзирая на все это, я всегда буду помнить, как читал «Спроси у праха», который по-прежнему считаю прекраснейшим романом всех времен, романом, вероятно, спасшим мне жизнь, чего бы та ни стоила.

Никто не способен выигрывать постоянно; вообще-то очень немногим удастся к такому даже близко подойти. Джону вот удалось, и далеко не раз. Вы жили с очень озлобленным человеком, который преодолел наконец свою озлобленность любовью и звенел, и наполнял, и втискивал каждую строку в памятное чудо, что говорило

да вопреки нет
да благодаря нет
что говорило
да да да

и продолжает так говорить, даже когда я познакомился с ним, каким он уже был.

Никогда не будет другого Джона Фанте...

Он был бульдогом с сердцем, в аду.

1986

[Кёрту Ниммо]

3 марта 1986 г.

Мне жаль, что Мартин нависает над тобой в таких кошмарных масштабах. Я туз в его колоде, и он суетится почти до безумия, если кто-то протекает несколькими разрозненными стихотворениями. «[Неуклонно как] тарантул» сделан прекрасно, и мне кажется, сами стихи ничего, парочка даже исключительна. Если честно, я счастлив, что ты это сделал...

У Мартина тысячи моих стихов, тысячи, тысячи, накопленное за 20 лет, что я ему посылал свои работы. Он бы мог тиснуть 5 или 6, или 7 книжек моей поэзии без всяких хлопот, и все стихи были бы на высоком уровне. Я просто пишу ужасно много.

Мартин намеренно придерживает мою следующую книгу, чтоб они изголодались и хотели ее. Говорит о том, как полк. Паркер управлялся с Э. Пресли. Говорит, тот придерживал материал Пресли, чтоб его больше хотели. Бля, все эти тупые фильмы с Элвисом. Я б не считал это придерживанием.

Мы с Мартином более-менее начали вместе, и я чувствую, что обязан ему какой-то верностью; с другой стороны, если б не я, его бы, может, и в игре сейчас не было.

Терпеть не могу ввязываться в драчки... с Мартином. Я хочу лишь пить вино и печатать.

Он переслал мне копию письма, которое написал тебе. Зачем тогда звонить? Тебе...

Похоже, Мартин слишком одержим всей этой хуйней.

С моей точки зрения, мне кажется, ты попросту опубликовал стихи, потому что они тебе понравились. И потом, ты *раздаешь* экземпляры своим подписчикам... Мне вовсе не кажется, что ты пытаешься уничтожить империю Мартина!

[Джону Мартину]

5 марта 1986 г.

Эта херня – ад.

Я вот что начинаю осознавать: «Черный воробей» может публиковать лишь то, что ему хочется.

Что остается, у тебя оно по-прежнему в резервах.

Как будто у тебя уродская мартышка в клетке, которую показывать по твоей прихоти.

Моя энергия калечится из-за твоего простого стремления к прибыли.

Ты продолжаешь меня придерживать, а мои читатели в ярости, так им хочется попробовать еще.

Моя верность тебе началась как дело справедливое и равное.

Я просто хочу печатать эту срань, и всё. А ты даешь людям увидеть лишь, может, одну шестую моей энергии.

Это убийство. Ты меня убиваешь.

Ни один поэт своего времени не был так ограничен, как меня ограничиваешь ты.

[Уильяму Пэкерду]

27 марта 1986 г.

Только что получил «НЙЕ № 29» и заметил много стихов Чинаски, что ты опубликовал! От тебя себя чувствуешь кем-то вроде э. э. каммингса или чуть ли не капельку как Эзра и Ли Бо, и я сегодня сосу вино и чувствую себя превосходно; мне нравится заставлять слова вгрызаться в бумагу, не столько как это делал Хемингуэй, скорее как царапины на льду, а также чтоб их сопровождало хоть немного смеха.

Спасибо тебе за игру. Я уверен, что во многих сферах меня считают «непоэтичным», что, разумеется, нравится мне до самых бимсов.

В общем, э... ммм... я... прилагаю еще немного, хоть и понимаю, что у тебя уже сейчас перегруз. Если б «НЙЕ» не пришел, я бы пульнул куда-нибудь еще, но у меня настала эта высокая эйфория, и я отправляю их в твою сторону. Это не продажа... Если все вернется, для стольких людей есть еще столько места, и я двину их куда-нибудь еще...

У меня ушло несколько десятков лет на то, чтобы мне стало везти, и я думаю, так лучше всего – дерьмовые работы, скверножопые женщины, меж тем читал писателей и брал у них слишком мало. Когда ты раб и слуга чьему-то чужому доллару, почти во всем письме что-то такое не приходится по душе. Конечно, в юности есть такое, отчего ты считаешь себя лучше, чем есть. Поначалу я писал слишком как Сароян и Хемингуэй, и еще немного под Шервуда Эндерсона. Потом Сароян стал мне не нравится, поскольку ему не удалось приспособиться под условия, а Хемингуэй – потому что у него юмора, блядь, не было, поэтому они во мне пересохли. Шервуд Эндерсон – ну, от него много еще липнет. Ли Бо он бы понравился.

В общем, когда мне не удавалось у машинки, я все больше и больше уходил в выпивку и женщин, то было как писать какой-то подменой, и оно меня чуть не угробило, к черту, но я был готов угробииться, и оно все же не совсем случилось, а я хоть и бросил другого сорта письмо, неосознанно собирал какой-то странный и буйный материал, на который, может, кто-то, стремящийся к Докторской степени в каком-нибудь Универе, и не наткнулся бы. Знаешь, всякие доброхоты мне говорили: «Все страдают». Я им всегда отвечаю: «Никто не страдает так, как бедняки». А потом их выпроваживаю.

Писать – это лишь результат того, чем мы становимся изо дня в день за годы. Я – чертов отпечаток пальца себя, и вот он тут. А все написанное в прошлом – ничто; что есть... лишь следующая строка. А когда не можешь придумать следующую строку, это не значит, что ты стар, это значит, что ты умер. Мертвым быть нормально, так случается. Но я жажду отсрочки, как и все мы. Еще листок бумаги в машинку, под этой жаркой настольной лампой, застрял внутри вина, вновь прикуриваешь сигаретные бычки, а внизу моя бедная жена слышит эти звуки, не понимая, обезумел ли я, или же просто пьян, или что. Я никогда ей не показываю свою работу, никогда об этом не говорю. Если удача держится и книжка выходит, я ложусь в постель, читаю ее, ничего

не говорю, передаю ей. Она читает, говорит очень мало. Так вот богам и угодно. Это жизнь превыше всех смертных и нравственных соображений. Вот оно. Так заведено. И когда мой скелет упокоится на дне домовины, если мне такое выпадет, ничто уже не сможет вычестить этих великолепных ночей, когда я сижу тут за этой машинкой.

[Карлу Вайсснеру]

22 августа 1986 г.

[...] Я заглотив, к черту, почти полную бутылку за 15 минут, охлажденного белого. Пришлось, оно так быстро согревается. Вполне нравится новая книжка «Порой бывает так одиноко, что в этом даже есть смысл». Ничего бессмертного, но, может, хоть посмеяться хорошенько? Был у меня Барбе, увидел все эти картонные коробки, набитые стихами.

«Иисусе Христе, и ты все это написал?» – спросил он.

«За этот год», – ответил я.

«А Мартин выбирает у тебя лучшее?»

«Будем надеяться...»

Ну, большинство поэтов сами отбирают свои стихи. Я же – я ленив. Кроме того, пока я работаю над отбором стихов, я мог бы писать *больше*. Один из великих секретов Мартина в том, что у него ПОД СПУДОМ ТЫСЯЧИ СТИХОВ. Он никогда их все не напечатает, он столько просто не проживет. Я, вероятно, чуточку спятил, но едва ли чувствую, что пишу, когда мне писать не хочется. Что же до Мартина, мне хочется лишь, чтоб он печатал те стихи, что побуйнее. У меня такое ощущение, что он меня выставляет чуточку формальным.

Надо вернуться и дописать этот ебанный рассказ. Это великолепный жанр, в нем можно больше играть. Все вот так вот, я могу написать рассказ, когда мне хорошо, а мне, блядь, было совсем не хорошо, потому-то одни стихи стихи стихи... Без этого высвобождения я б, вероятно, покончил с собой или же глотал бы пилюли в ближайшем приюте для душевнобольных.

1988

[Карлу Вайсснеру]

6 июля 1988 г.

[...] Стихи мешают роману – остальные, помимо воплей рака кожи, – продолжают поступать. Иногда лишь бутылка и стих соответствуют ситуации, или неделе ситуаций. Или неделям их.

По-прежнему до стр. 173 романа [«Голливуд»], страницы уже не держатся на планшете. Мне кажется, письмо нормальное, хотя, если и когда книга выйдет, у меня могут случиться дальнейшие неприятности. Но наши суды тут настолько заполнены, что иногда дело доходит до слушания лишь через 5 или 6 лет, а за это время бумаги летают туда-сюда, и бумаги, и юристы толстеют и богатеют, а клиенты сходят с ума.

«Горгулья», да, они давно существуют, хотя работы, что они печатают, кажутся довольно гладкими и им недостает азарта и живости. Но Джей Д[огерти] мне говорит, что ты выступил с бешеным интервью, и я с нетерпением жду, что скажет Клевый Карл из Маннхайма. Мне всегда нравились твои взгляды на существование.

«Мадригалы [из мебелирашек]», да, но мне все равно нравится то, чем я сейчас занят. Ясность до самой кости. Я думаю. Раз уж я ебусь с лентой, у меня должен появиться навык.

[Карлу Вайсснеру]

6 ноября 1988 г.

[...] Да, я закончил «Голливуд». Мне кажется, он нормальный. Внутри немного утробного хохота. На самом деле, мне он нравится, как и все, что я написал. Но писатель, разумеется, – худший судья собственным работам. Однако для меня писательство – тоник, эликсир, ага, потому что меня пожирало множество всего, глодало меня, орало

на меня, и пишущая машинка и бумага были выходом, прочь из говнопруда в довольно воздушный полу-свет, хотя то, о чем я писал, было в жанре ужасов. Иногда все будто бы сходится, когда вроде как пропало.

Я бы больше предпочел писать в счастливом состоянии рассудка и могу это делать, когда настает такой вот редкий и удачный миг. Не верю я в боль как сбытчика искусства. Боль слишком часта. Мы можем без нее дышать. Если она нам позволит.

О Берроузе, мне с ним никогда не везло. И мне жаль, что он для тебя потускнел. Вся эта шайка: Гинзбёрг, Корсо, Берроуз, тому подобные, для меня-то они давно потускнели. Когда пишешь только для того, чтобы прославиться, все просираешь. Не хочу устанавливать какие-то правила, но если одно и есть, то вот оно: только те писатели хорошо пишут, кто должен писать, чтобы не сойти с ума.

1990

Хьюз опубликовал четыре стихотворения Буковски в «Платанном обозрении» в 1990–1991 годах.

[Генри Хьюзу]

13 сентября 1990 г.



9–13–90

Привет, Генри Хьюзу

Я рад, что парочку удалось в тебя втиснуть.

Мне уже 70, но, пока льется красное вино, а пишущая машинка шевелится, все в порядке. Хорошо у меня получалось,

когда я писал грязные рассказы для мужских журналов, чтобы платить за квартиру, и у меня до сих пор хорошо получается, когда пишу вопреки опасностям небольшой своей известности и скольких-то денег – и приближающихся шагов по той штуке со знаком СТОП. Временами я наслаждался этим поединком с жизнью. С другой стороны, я его покину без сожалений.

Иногда я называл писательство болезнью. Если так, я рад, что ею заразился. Я никогда не заходил в эту комнату и не смотрел на пишущую машинку, не чувствуя, что где-то что-то, какие-то странные боги или что-то совершенно неназываемое коснулось меня отпетой, пропетой и чудеснейшей удачей, что все держится, держится и держится. О да.

[Редакторам «Колорадского северного обозрения»]

15 сентября 1990 г.

[...] Я замечаю, что вы связаны с университетом, но все равно разговариваете вполне по-человечески, по крайней мере – в переписке. Но за последние пару лет я отмечал, что университетские издания более открыты к азарту и разнообразию в том, что они провозглашают, я имею в виду, что они выкарабкиваются из XIX века, по крайней мере, с приближением XXI.

Да, я понимаю, о чем вы в смысле письма и писателей. Мы, похоже, потеряли цель. Писатели, судя по всему, пишут ради того, чтоб быть известными как писатели. Они не пишут потому, что их что-то подталкивает к краю. Оглядываюсь на то, когда у нас еще были Паунд, Т. С. Элиот, э. э. каммингс, Джефферс, Оден, Спендер. Их произведения прямо пробивали бумагу, поджигали ее. Стихи становились событиями, взрывами. Была сильная взбудораженность. Теперь уже десятки лет у нас, похоже, это затишье, едва ли не *умелое* затишье, словно скука – показатель гениальности. И если возникал новый талант, то была лишь вспышка, несколько стихов, тоненькая книжка, а затем он или она стачивались, переваривались до тихого ничто. Талант без стойкости – чертово преступление. Это значит, что они попались в мягкую ловушку, это значит, что они уверовали в хвалу, это значит, что они

удовлетворились недобором. Писатель – не писатель от того, что преподает литературу. Писатель лишь тогда писатель, если он может писать сейчас, сегодня вечером, сию минуту. У нас слишком много эксписателей, которые печатают. Книги выпадают у меня из рук на пол. Они полная чушь. Мне кажется, мы только что спустили полвека на вонючие ветра.

Да, классические композиторы. Я всегда пишу под включенную музыку и бутылку хорошего красного. И курю мангалорские биди «Ганеша». Вихренье дыма, грохот печатки и музыка. Вот так способ плюнуть в лицо смерти и в то же время ее поздравить. Да.

[Кевину Рингу]

16 сентября 1990 г.

[...] Я понимаю, что ты имеешь в виду насчет поэзии. Тухлая претенциозность ее не давала мне покоя не один десяток лет, не только поэзии нашего времени, но и поэзии прошедших веков, так называемого лучшего из лучшего. Похоже, будто все прихорашиваются, наряжаются, поддерживают огонек как можно ниже либо вообще никакого, приукрашивают, делают понежней [...] Проза недалеко от этого ушла. Я не подразумеваю, что сам великий писатель, а говорю лишь, что как читатель чувствую – меня обули, задавили салом, нассали на меня очевидными приемчиками ремесла, трюками, которые едва ли стоит разучивать.

О да, я знаю про сэра Эдварда Элгара. Он мог сочинять для Королевы и страны, и все равно в нем переливается трелями волшебство. Кроме того, есть еще Эрик Коутс. Я говорю здесь об англичанах. На протяжении времен было столько великих классических композиторов. Я их часами слушаю, это мой наркотик. Он выглаживает причуды моего бедного изможденного рассудка. В отличие от поэтов и прозаиков классические композиторы выглядят вполне честными, стойкими и полными изобретательности и огня. Мне их всегда мало, список кажется нескончаемым. Столько их практически жизнь свою положило за свои труды. Предельная азартная игра. Классическую музыку я слушаю часами, большей частью – по радио, и даже после

стольких лет часто слышу новое и поразительное произведение, которое нечасто исполняют.

Когда я слышу одну из таких вот работ, это великая ночь. Я знаю стандарты и стандартные аранжировки, но как бы хороши ни были они, когда тебе как-то удалось выучить все до ноты, которая сейчас прозвучит, чего-то малого и впрямь не хватает. Мое письмо, хоть по-своему и простое, всегда направляется музыкой, потому что я слушаю, когда пишу, и, конечно же, рядом дорогая моя старая бутылка.

[Уильяму Пэкерду]

23 декабря 1990 г.

[...] Когда все получается лучше некуда, это не потому, что ты выбрал писать, а потому что письмо выбрало тебя. Это когда ты с него бесишься, когда оно тебе в уши набивается, в ноздри, под ногти. Когда нет никакой надежды, кроме этой.

Однажды в Атланте, голодая в хижине из толя, замерзая. Там вместо пола были газеты. И я нашел огрызок карандаша, и писал на белых полях по краям тех газет карандашным огрызком, зная, что этого никто никогда не увидит. То было раковое безумие. И оно никогда не было работой, или чем-то планируемым, или частью какой-то школы. Оно было. Вот и все.

А почему нам не удастся? Век такой, что-то в эпохе, нашей Эпохе. Полвека не было ничего. Никакого настоящего прорыва, никакой новизны, никакой сверкающей энергии, никакого азарта.

Что? Кто? Лоуэлл? Этот кузнечик? Вот не надо мне говенных песенок петь.

Мы делаем, что можем, и то не очень получается.

Размеренно. Сперто. Мы в этом *позируем*.

Мы слишком трудимся. Мы слишком стараемся.

Не пытайся. Не работай. Оно есть. Смотрит прямо на нас, ему мучительно не терпится выпнуться из закрытой утробы.

Слишком много *режиссуры* было. А все свободно, нам не нужно говорить.

Школы? Школы для олухов.

Писать стих так же легко, как сдрочнуть или выпить бутылку пива.
Смотри. Вот один:

«ПОТОК»

мать видела енота,
сказала мне жена.

а, ответил я.

и вот это
примерно вся
форма вещей
нынче вечером.

1991

[Джону Мартину]

11 марта 1991 г., 1:42 ночи

Я, вероятно, слишком много пишу. Для меня такого быть не может. Я к этому пристрастился.

В середине мозга я по-прежнему помню то время в Атланте, хоть и повторяюсь, когда голодал и был не в своем уме, но, может, в уме своем, когда писал огрызком карандаша на белых краях газет, которыми мои землевладельцы застелили, как ковриком, земляной пол. Безумие? Еще бы, но хорошее безумие, хотелось бы мне думать. Такого не забываешь, никогда. Лучше моей университетской подготовки по Литературе никому никогда не перепало. Я вылетел пробить потолок всего везде. Лишь бы это сделать.

[Джону Мартину]

23 марта 1991 г., 11:36 вечера

У меня постоянно такое чувство, что я начинающий писатель. Тут прежнее возбуждение и чудо... Это великолепное безумие. Мне кажется, слишком много писателей, побыв какое-то время в игре, слишком наострятся, становятся чересчур осторожными. Они боятся совершать ошибки. Катаешь кости – иногда тебе выпадают два очка. Мне нравится, когда все привольно и необузданно. Хороший тугой стих может случиться, но он приходит, когда работаешь над чем-то другим. Я знаю, что иногда пишу чушь, но отпускать это от себя, колотить в барабаны – в этом есть сочная свобода.

У меня сейчас все изобилует, созревает, алчет, рвет и мечет. Покамест боги позволяют мне такой праздник. Так странно. Но мне годится.

[Джону Мартину]

13 апреля 1991 г., 12:20 ночи

Купил по ошибке этой зеленой бумаги, но с ней неплохо получается, по-моему.

Только что подписал пару книжек Фиделю Кастро. У меня, конечно, нет никакой политики, но пора уже ему почитать что-то от «Черного воробья», а?

[Патрику Фою]

15 апреля 1991 г., 8:34 вечера

Спасибо за стихотворение и снимок, оба хороши. Нет, я не фанатик тенниса, а изучаю проигрыш. В этом мне преподали несколько уроков.

Собирался сказать вам про хорошее чтиво, что вы присылали. Ваша борьба с врожденной глупостью истории этого века благородна и одинока. Меня восхищает, как вы упорствуете вопреки всему. Полагаю, что взгляды ваши бьют в точку. Но былая пропаганда потопила почти все умы, и они теперь в забвении принимают смертоносную ложь. Они не способны вернуться и исправить громадные ошибки, поскольку тогда обнаружится, что наши восхваляемые вожди, герои нашей истории – жулики и самозванцы. А подумать про миллионы жизней, отданных за так называемые великие цели. Стало быть, нужно признать, что все эти жизни пропали совершенно впустую, и не по правильным причинам, а по неправильным. Эта чудовищная игра зашла уже слишком далеко, чтобы ее можно было исправить; она лишь и дальше будет гнать мужчин и матерей, да почти всех, к ярости и безумию. Но больше всего здесь ужасает то, что игра продолжается, и не просто в том же самом духе, но и бездушней, в ту же самую алчность и страх, и той же практикой, выученной и отточенной до того хорошо, что чем крупней лжецы, тем сильнее в них станут верить.

Те немногие из нас, кто это сознает, могут лишь оберегать собственные умы от натиска, стершего способность чувствовать почти

у всех людей.

[Джону Мартину]

12 июля 1991 г., 9:39 вечера

Читал, где Генри Миллер прекратил писать после того, как стал знаменит. Что, вероятно, значит – он писал для того, чтобы стать знаменитым. Я такого не понимаю: нет ничего волшебнее и прекраснее строк, образующихся на бумаге. Это же все, что есть. Все, что было когда-либо. Нет награды больше самого делания. Что приходит после – даже более чем вторично. Не могу понять никакого писателя, кто прекращает писать. Это как вынуть у себя сердце и смыть его вместе с кашками. Я буду писать до последнего своего чертова вздоха, что б там кто ни думал, хорошо это или плохо. Конец как начало. Таким я и должен был быть. Все вот так вот просто и глубоко. А теперь давай я перестану писать об этом, чтобы можно было писать о чем-нибудь другом.

1992

[Джону Мартину]

19 января 1992 г., 12:16 ночи

Короткая выдержка из дневника прилагается.

Спасибо за отчет о продажах. Поистине удивительно. Что ты продолжаешь печатать эти 18 книг и что они продолжают расходиться. Мне это странно, и я горжусь каждой книжкой, тем, что все они по-прежнему живы и брыкаются. И есть что-то в старых названиях, время идет, а они, похоже, набирают дополнительный аромат (я имею в виду сами по себе названия книг), как будто живут своей жизнью. Ну, это здорово, одно из таких вот тихих чудес.

А лучше всего то, что мы по-прежнему этим занимаемся. Если ты когда-нибудь бросишь, не знаю, что я стану делать. Мы работали в совершенном доверии и гармонии, я не помню ни одного спора ни о чем.

Спасибо, старина, это было прекрасно.

[Уильяму Пэкерду]

30 марта 1992 г., 8:24 вечера

[...] Спасибо за приложенное. Мне нравится твое стихотворение «Соблазнитель». Сам же знаешь, как оно получается. Или не получается. И еще спасибо, что приложил учебный план. Для меня честь быть на одной карточке с Паундом, Лоркой, Уильямсом и Оденом. «Пересмешник, пожелай мне удачи». Кстати, о Паунде, много десятков лет назад я сожительствовал с одной дамой и был плохим добытчиком, и как нам все удавалось, когда мы с ней так беспробудно бухали, сейчас меня поистине поражает, хотя тогда я об этом не сильно-то задумывался. Так или иначе, в те редкие непьющие мгновенья я обычно

добирался до библиотеки и обратно. Однажды открыл дверь и стою там с этой тяжелой книгой в руке, а она посмотрела на меня с кровати и сказала: «Опять эти проклятушие “Кантос” взял?» «Да, – ответил ей я, – нельзя же *все* время ебаться».

Джек Грейс, редактор литературного журнала «Вавтобусе», опубликовал большое количество стихов и дневниковых записей Буковски в разделе, озаглавленном «Альбом Чарльза Буковски». Кроме того, Грейс рецензировал поэзию Буковски.

[Джеку Грейсу]

22 октября 1992 г., 12:10 дня

Спасибо за доброе письмо и за то, что показали ваш текст про «Оно ловит». А также за то, что рассказали об альбоме. 32 страницы, вот так объем.

Знаете, «Оно ловит» было тем еще времечком, и то было странное время, я тогда не был даже молод. Теперь же на мне ездят 72 года, и это больше всего похоже на то, как приходишь в себя после фабрики или скверного сожительства. Я чувствую, что письмо по-прежнему тут, чувствую, как слова вгрызаются в бумагу, это необходимо, как и раньше [...] Письмо спасло меня от психушки, от убийства и самоубийства. Мне оно по-прежнему нужно. Сейчас. Завтра. До последнего вздоха.

Похмелья у меня теперь хуже, но я по-прежнему выбираюсь из постели, в машину и еду на бега. Играю помаленьку. Другие игроки меня не достают. «Этот парень ни с кем не разговаривает».

Потом, ночью, иногда оно есть в компьютере. Если нет, я не выталкиваю. Если слова на тебя не прыгают, не сто́ит. Иногда я и близко не подхожу к компьютеру, потому что ничего не жужжит, а я либо умер, либо отдыхаю, и только время тут покажет. Но мертв я, лишь пока на экране не возникнет следующая строка. Тут нет ничего святого, это целиком необходимо. Ага. Да. Меж тем я пытаюсь быть как можно больше человеком: разговариваю с женой, ласкаю кошек, сижу и смотрю тв, если в силах, или, может, просто читаю газету с первой страницы до последней, а может, просто пораньше ложусь спать. Когда

тебе 72, это совершенно другое приключение. Когда мне стукнет 92, оглянусь на это и посмеюсь. Нет, я достаточно далеко зашел. Слишком уж оно похоже на то же самое кино. Только вот для всех нас оно становится чуть уродливей. Никогда не думал, что окажусь здесь и сейчас, а когда уйду – буду к этому готов.

1993

После более сорока лет безуспешных попыток появиться в журнале «Поэзия» у Буковски все же опубликовали в нем три стихотворения – незадолго до его кончины.

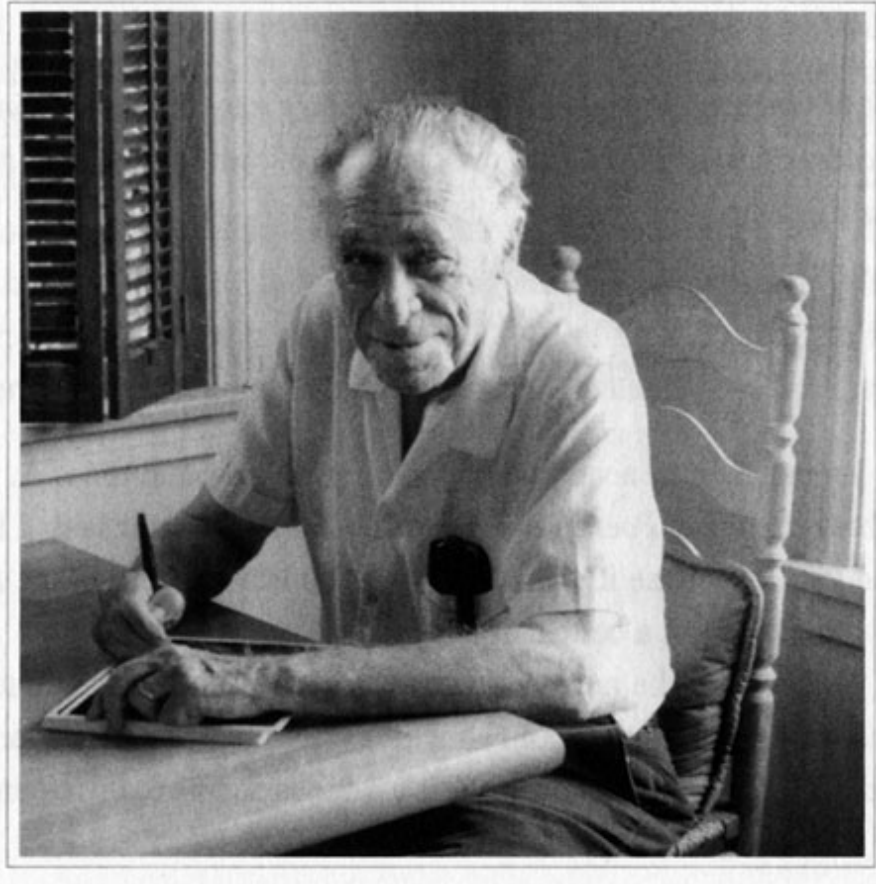
[Джозефу Паризи]

1 февраля 1993 г., 10:31 вечера

Помню, очень молодым человеком, сидя где-то в публичной библиотеке Л.-А., читал «Поэзию: журнал стиха». И вот наконец-то я к вам присоединился. Полагаю, решать это осталось на нашу с вами долю. Так или иначе, я рад, что втиснул в вас парочку стихов. [...]

Спасибо, новый год обходится со мной по-доброму. Я в том смысле, что слова у меня лепятся и вихряются, кружат и летают. Чем старше становлюсь, тем больше, кажется, на меня сваливается это волшебное безумие.

Очень странно, но я его принимаю.



Послесловие

Перебирая больше двух тысяч страниц неопубликованной переписки в попытках найти самые вдумчивые письма Буковски о литературе и письме, я наткнулся на всевозможные прежде не виданные сокровища: неизвестные письма Генри Миллеру, Уиту Бёрнетту, Карессе Кросби, Лоренсу Ферлингетти и литературному божеству самого Буковски Джону Фанте; там был забытый яркий рекламный текст к одной из самых популярных книг Буковски «Эрекции, эякуляции, эксгибиции и вообще истории обыкновенного безумия»; предисловие, которое Буковски написал к своей первой книге на голландском языке «*Dronken Mirakels & Andere Offers*», впервые публикуемое здесь по-английски, и незавершенная пародия на литературный журнал под названием «Обозрение туалетной бумаги». Кроме того, нашлись очень ранние письма Буковски, где его стиль поразительно вычурен и напыщен, а также некоторые его иллюстрации, от которых спирает дыханье, – они здесь тоже публикуются впервые. Добавьте к этому редкому материалу несколько самых страстных писем, когда-либо написанных Буковски, и этот томик переписки запросто окажется не менее захватывающим, чем любой другой его сборник. И впрямь Буковски здесь предстает в своем лучшем виде: грубый, остроумный и глубоко трогательный; предоставляя товар, он не берет пленников.

По большей части в этих письмах отчетливо чувствуется их непосредственность: у Буковски нет времени на болтовню о делах, он во всех письмах до единого изливается безотлагательно, повседневные дела обсуждает с подлинным возбуждением. Как будто он писал стихи в форме писем – он то и дело утверждает, что письма так же важны, как стихи. В той же мере некоторые письма читаются как рассказы, словно писал он действительно хорошо продуманное произведение. Поэзия, художественная литература и переписка для Буковски оказываются в одной категории: искусство. Он столь же насыщен и обращаясь к людям впервые. Его письма Эдварду ван Элстину и Джеку Конрою поистине столь же буковски, как то, что он писал друзьям, редакторам и поэтам, с которыми переписывался подолгу. Для Буковски никакой

разницы не было. Письма были способом выразить, каков он, и не важно, кому он их отправлял.

В переписке Буковски также очевидна непосредственность. Первая мысль – лучшая мысль, кажется, утверждает он в большинстве писем. Голос его звучит из них во всем своем блеске первого лица, когда он пишет и друзьям, и недругам. Лишенное всякого притворства, его письмо становится хрустально-ясным моментальным снимком настроения автора в данный момент. Его безудержный подход к творчеству определенно присутствует и в корреспонденции, пишет ли он бесстрастное утверждение о положении дел в американской беллетристике с нежным отступлением о своей дочери или же свирепо нападает на современных писателей. Во всем этом Буковски остается самим собой.

Но есть и примечательные исключения. В своих письмах Уиту Бёрнетту, Карессе Кросби, Генри Миллеру и Джону Фанте Буковски выглядит несколько натянуто, даже робко, как будто ему не хочется их расстраивать. Точно так же, в письмах конца 1950-х стиль у него изощреннее, он намеренно и издевательски более культоват, в нем для юмористического эффекта призваны на помощь, как он их называет, «словарные слова». Та же перемена вида и в его поэзии: ранние стихи могут быть вычурны и причудливы, а вот поздняя поэзия обладает «ясностью до самой кости», как он сказал о тех стихах, что писал в конце 1980-х. Тон его переписки сдвигается в эту сторону в начале 1960-х, особенно когда он обменивается письмами с Джоном Уэббом и Уильямом Коррингтоном. Раннее трюкачество сменяется прямолинейной прозой. Буковски на этом рубеже начинает звучать как тот «Буковски», с которым знакомо большинство читателей.

И для раннего, и для позднего Буковски писательство было сродни приятной болезни, которую никто бы не смог излечить, и эти письма показывают, насколько Буковски ценил радость писательства. Оно было природной силой, которую он не мог и не желал останавливать, что бы ни случилось, словно бурная река в ненастье влекла его к неведомому. У Буковски редко бывали творческие кризисы, и он более полувека неустанно писал едва ли не ежедневно. Он наглядно выражал свою тягу к письму в интервью 1987 года: «Если не пишу неделю, я болею. Не могу ходить. У меня кружится голова. Я лежу в постели, блюю. Встаю с утра, а меня тошнит. Мне нужно печатать. Если бы мне отрубили руки,

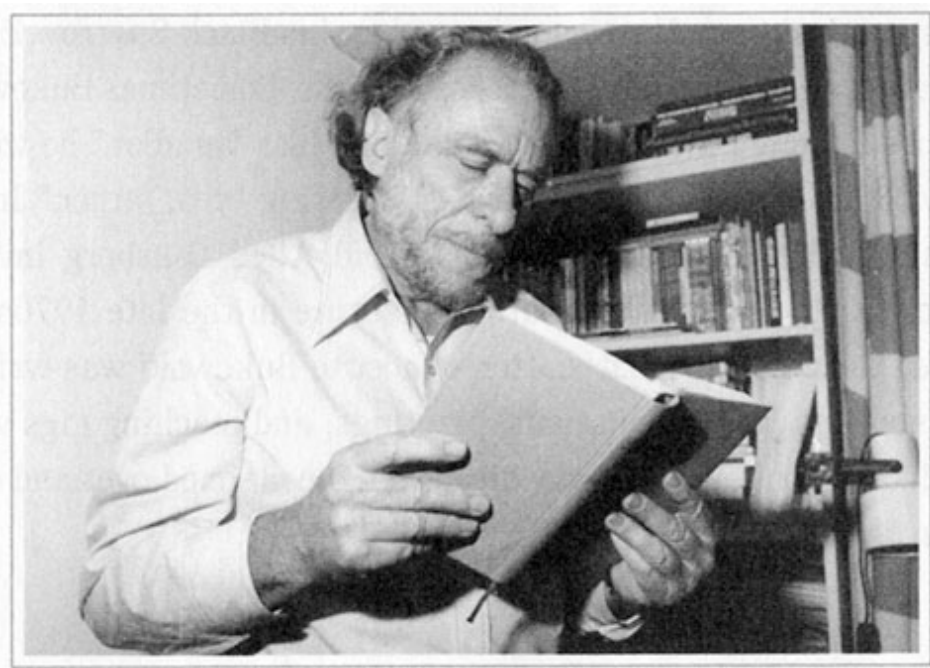
я бы печатал ногами». Его плодovitая и дисциплинированная натура выдает то, от чего он бывал по-настоящему счастлив: «Нет награды больше самого делания. Что приходит после – даже более чем вторично», – признавался он в начале 1990-х. Прибавьте к этому немалую развлекательную составляющую, которую Буковски всегда продвигал в своих работах, и исход выйдет классичнее некуда: писание как «*dulce et utile*», как много веков назад предполагал Гораций.

Окопавшись в своих маленьких лос-анджелесских квартирках, Буковски вел уединенную жизнь в стороне от внешнего мира. Его настолько не трогали текущие события, что, когда его обвинили в том, что он пропустил 1960-е, он едко ответил: «Черт, ну да, я тогда работал на почте». Как его идол Робинсон Джефферз в Биг-Суре, Буковски лихорадочно творил в полном одиночестве; как человек из подполья Федора Достоевского, он выстреливал зажигательными снарядами из своей неведомой берлоги, ошеломляя читателей и издателей. В почти что безнадежной попытке никак не соприкоснуться с Влиятельными Кругами Буковски рассылал свои нестареющие послания, направленные против чопорной литературной арены, чтобы хоть как-то ее расшевелить. Именно эта вневременность делает его произведения долговечными и памятными.

Немец по рождению, Буковски вырос в Лос-Анджелесе, в семье, лишенной любви и нежности, и это сформировало его твердое, как скала, и индивидуалистическое, почти ницшеанское мировоззрение. Коль скоро он был ребенком Депрессии и постарше большинства начинающих писателей, модные веяния, вроде контркультуры 1960-х или поверхностной идеологии «Власти Цветов», вызывали у него одни насмешки. Больше всего Буковски презирал стадность и эгоизм популярных групп вроде битников, которые, казалось, полагали, будто очутиться в лучах славы важнее, чем действительно работать. Буковски отстранился от этой суеты, чтобы посвятить себя письму. Пишущая машинка доставляла его в то трудноопределимое место между безумием и душевным здоровьем, которое он так любил. Писать – вот единственный известный ему способ не подпускать к себе безумие.

По природе своей одинокий волк, Буковски любил цитировать строку Сартра о том, что «ад – это другие», однако он никогда не пытался отрицать множество своих литературных влияний. Алкоголь и классическая музыка так же очевидно воздействовали на его письмо,

вероятно – столько же, сколько и любой из художников, кого он уважал и кого исправно благодарил во многих своих письмах. Кроме того, он был благодарен некоторым независимым и мелким издателям, особенно Джону Уэббу, Марвину Мэлоуну и Джону Мартину, и их совместному «волшебному путешествию». В то же время он неоднократно поносил самых высоко ценимых авторов, включая Шекспира и Фолкнера. Своих современников он тоже не щадил: Кэрол Берже, Рон Силлимен, Генри Миллер (и его «звезднопутевый лепет») и Роберт Крили подвергались его яростным нападкам – что нехарактерно, в начале 1970-х годов Буковски изменил свое мнение о Крили, признав свою критику безосновательной. Как сам Буковски не раз говорил, он начал писать не потому, что был хорош, а потому, что другие писатели были слишком уж плохи.



Ни по каким меркам человек не ученый, Буковски тем не менее полтора года посещал колледж и гордился тем, что в молодости прочел без счета книг в Лос-Анджелесской публичной библиотеке. Хотя он систематически неверно писал фамилии многих известных авторов, этот печально известный пьяный бабник мог почти дословно цитировать давно забытые средневековые стихи, различные афоризмы Ницше и множество строк из стихов Шекспира, Уитмена и прочих

гигантов литературы. Такой вот невежественный Старый Козел американской литературы.

Мало того, Буковски мог быть и привередливым грамматистом. В дилемме «останемтесь же справедливы» против «будем же справедливы» в письме Энтони Линику от 2 апреля 1959 г. Буковски комически наносит удар по грамматическим правилам. Более того, когда редакторы литературных журналов публиковали его стихи со вкравшимися типографскими опечатками, он становился рассерженным стариком и изрыгал инвективы налево и направо. Для плодовитого автора, у которого почти не оставалось времени на редактуру, Буковски мог быть весьма придирчив – и поделом – насчет опечаток, что были общим местом в маленьких журналах, размножавшихся на mimeографах, где его произведения печатались рекордно быстро.

Не связанные с писательством вопросы вроде подачи рукописей в сотни литературных журналов по всему миру Буковски считал пустой тратой времени; примерно это он и говорил своему давнему редактору Джону Мартину. Кроме того, он полагал, что изготовление десятков маленьких рисунков для специальных изданий, которые Мартин планировал для своего издательства «Черный воробей», необязательно и истощит его энергию. Иногда Буковски взрывался; чувствуя, что Мартин относится к нему как к «идиоту», он отвечал на требования редактора презрительным «да, отец». Что интересно, когда Энн Уолдмен и Аллен Гинзбёрг вдвоем пригласили Буковски преподавать в Университете Наропы в конце 1970-х годов, он это предложение отверг. Больше всего значения для Буковски имело писать следующую строку, а подача рукописей, картины и преподавание всего-навсего отвлекали. Писательство было его костылем, как вновь и вновь утверждал он сам.

В самом начале этого томика юный, неизвестный Буковски спрашивает у Хэлли Бёрнетт о возможности работы в журнале «Рассказ», а в самом конце, едва ли за год до кончины, когда он уже был невероятно популярен для автора, публиковавшегося в независимой прессе, Буковски откровенно благодарит редактора Джозефа Паризи за то, что тот наконец его напечатал в журнале «Поэзия» после десятилетий нескончаемых отказов. Письма эти показывают, что Буковски был упрям и упорен, никакие препятствия не могли помешать

ему стремиться к успеху и признанию, что от своей писательской болезни он не мог и не желал излечиваться. Еще очень молодым художником он принялся методично культивировать черты, что со временем превратили его в ту личность «Буковски», которую он счастлив был увековечивать в своих произведениях. Чтение этих писем позволит заглянуть в самую глубину борьбы всей его жизни за то, чтобы стать литературной иконой.

И теперь они доступны вам во всем своем грубом великолепии.

Абель Дебритто

Тенерифе, Испания

Август 2014 г.

Благодарности

Составитель и издатель хотели бы поблагодарить владельцев писем, опубликованных здесь, включая следующие организации:

Университет Аризоны, Отдел особых собраний

Брауновский университет, Провиденс, Библиотека Джона Хея

Университет Калифорнии, Библиотека Бэнкрофта

Университет Калифорнии, Лос-Анджелес, Отдел особых собраний

Университет Калифорнии, Санта-Барбара, Отдел особых собраний

Университет штата Калифорния, Фуллертон, Библиотека Поллака

Колледж Сентенари, Шривпорт, Луизиана, Исследовательская библиотека Сэмюэла Питерза

Университет Коламбия, Библиотека редких книг и рукописей

Библиотека Хантингтона, Сан-Марино, Калифорния

Университет Индианы, Библиотека Лилли

Университет штата Нью-Йорк в Баффало, Собрание поэзии/редких книг

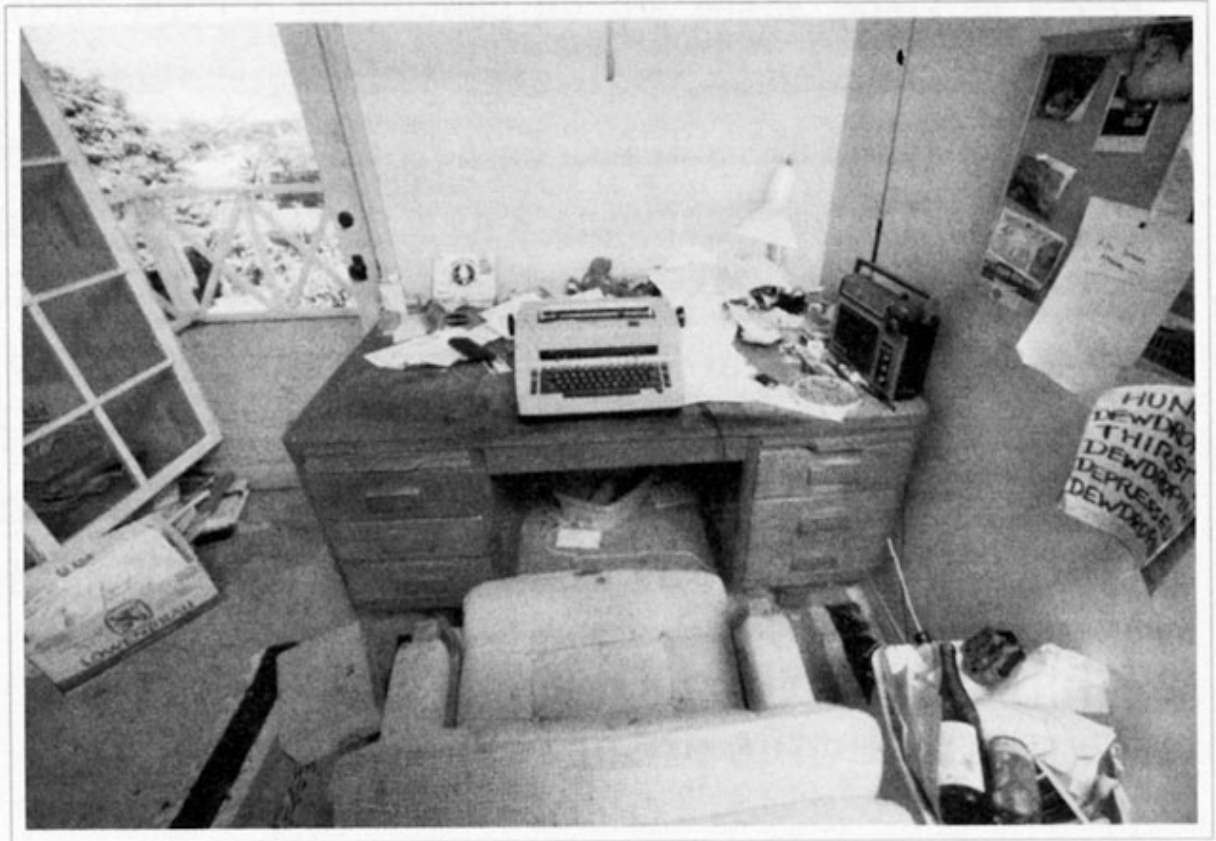
Принстонский университет, Нью-Джерси, Отдел особых собраний и редких книг

Университет Южной Калифорнии, Собрание редких книг

Университет Южного Иллиноя, Карбондейл, Библиотека Морриса

Также спасибо следующим журналам, где были впервые опубликованы некоторые письма: «Колорадское северное обозрение», «Событие», «Антракт», «Нью-Йоркский ежеквартальник» и «Дымовые сигналы».

Последнее по порядку, но не по важности: огромное спасибо Майклу Андре, Герварду Беларту, Энтони Линику, Кристе Мэлоун и А. Д. Уайнанзу за предоставленные копии некоторых писем.



notes

Примечания

В оригинальном издании. В переводе мы придерживались традиционных кавычек, курсивом выделены только подчеркиваемые автором слова. Имена собственные в большинстве случаев приведены согласно современной произносительной норме. *Здесь и далее прим. перев.*

«*Рассказ*» – «*Story*», литературный журнал, основанный в 1931 г. американским журналистом и редактором Уитом Бёрнеттом (1900–1972) и его женой Мартой Фоули (1897–1977) в Вене, с 1933-го по 1967 г. выходил в Нью-Йорке; издание было возобновлено в 1989–2000 гг. Хэлли Саутгейт Бёрнетт (Зайсел, 1909–1991) – вторая жена Уита Бёрнетта, писательница и со-редактор журнала «*Рассказ*» (1942–1971).